

АДЫЛ ЯКУБОВ

ДАВРОН ГАЗИЕВ- ГВАРДИИ КАПИТАН

Перевод Ю. Суровцева

1

Мы прибыли в Монголию в знойный летний день сорок пятого года. Мы — это эшелон молодых ребят, новобранцев. Нас выгрузили в холмистой желто-зеленой степи у мелководной речушки. На ее берегу разбили палаточный лагерь. Потом стали подходить и разгружаться эшелоны чуть ли не прямо из-под Берлина. Было чему позавидовать: бывалые солдаты горделиво позвякивали своими орденами и медалями перед нами, необстрелянными салажатами.

Наша часть еще находилась в резерве, и военная наука продолжалась. Стреляли по дальним мишеням, лихо прокалывали чучела, по-пластунски, нос в пыли, доползали до позиций «врага» и забрасывали их гранатами. Ну, и прочее такое — в степную жару малоприятное... Вернее сказать, тяжесть или легкость наших уроков целиком зависела от командиров рот. «Жестокие» лейтенанты были требовательны, а «добрые» без особого усердия водили нас в штыковые «атаки».

Лейтенант, приставленный к нам, был из «добряков». Заставит попотеть часа два, а потом, давай «закалять организм» на солнышке. А солныце шпарат всюю. Степь с высушенной, какой-то искореженной травой — словно раскаленный тандыр; кажется, лепешки можно печь прямо на земле. Сбросив гимнастерки и ботинки, полуголые, мы нежмся на горячем, каменно-твердом пляже.

За два-три дня тело становится медно-красным, блестит, как хорошо смазанное оружие. Даже Вася, второй номер моего пулеметного расчета, из по-рыбы белесого превратился в черно-бронзового...

Лежу однажды рядом с ним и своим земляком Арсланом, подреываю. Вдруг громкий голос лейтенанта: «Рота! Встать! Смирно!»

К нам направлялась группа офицеров, впереди — высокий худощавый капитан. Орденов у него — как у Рокоссовского! Когда он подошел поближе, я невольно подумал: «Не узбек ли?» Правда, не смуглый, скорее даже белолицый, нос с кавказской горбинкой. Но черные густые брови, несколько враскос прорезанные карие глаза, заметные скулы, — словом, что-то в лице было такое, что выдавало его узбекское происхождение.

Арслан (в шеренге всегда стоит рядом со мной), кивнув на капитана, улыбнулся: «Земляк вроде, а?» Мне близка его радость. За свои первые солдатские месяцы впервые видим узбека-офицера. Да еще с таким количеством боевых орденов и медалей!

Наш добряк-лейтенант, любитель солнца, на бегу одергивая гимнастерку, летит к капитану.

— Товарищ гвардии капитан! Рота...

— Вольно! — Капитан, заложив руки за спину, неторопливо обошел строй. — Расположились, точно на берегу Черного моря... Курортники!..

Лейтенант неловко прокашлялся, попытался пошутить:

— Надо же закалиться перед тяжелым походом...

— С такой закалкой, боюсь, все твои солдаты полягут в степи!

Неожиданно резко вскинув голову, капитан скомандовал:

— Рота! Слушай мою команду! Фронтовики! Шаг вперед, марш!

Фронтовики — и постарше и помоложе — вышли вперед.

— Остальным — направо!

Капитан, четко вышагивая по сухой каменной земле, остановился перед новобранцами и, заслонив ладонью глаза от солнца, взглянул вдаль на желтовато-коричневые холмы.

— Вон те холмы видите?.. Видите! Отлично... Если видите... туда и обратно бегом... марш!

«Туда» было больше версты. У меня ручной пулемет, ствол его обжигает руки. Не пробежав и половины пути «туда», я взмок, будто побывал в бане. А многие ребята уже добежали до холмов и повернули «обратно». Среди них Арслан и Вася, сильно загоревший, с совершенно белыми волосами и ресницами. Вася Колбаскин весело кричал, пробегая мимо меня:

— Как самочувствие, поэт? А ну, дай пулемет и держи диски — с тебя хватит и дисков!

Арслан, как всегда, язвит:

— Оставь его, Вася. Пусть сбросит жирок. Это ему не каптерка!

Арслан намекает на то, что одно время я был каптенармусом.

Пришлось проглотить насмешку. Спорить нечего — выглядел я, должно быть, жалко. Что теперь скажет о солдате-узбеке капитан, похожий на узбека?

К счастью, когда я наконец возвратился к роте, то вместе со мной к ней выскочила — из какой-то лоцины справа — машина-амфибия.

— Рота! Смирно! — Гвардии капитан, тот самый, похожий на узбека, направился к машине, четко печатая шаг.

Моего опоздания вроде бы не заметили. Все смотрели на невысокого седого полковника, на груди которого блестела Золотая Звезда. Фронтовики зашептались еле слышно: «Командир полка... полковник Белобородов... Герой...»

Полковник выслушал рапорт, снял фуражку, неторопливо-усталым движением стер пот со лба.

— Что, солдаты, тяжело в ученье?

Я локтем подтолкнул Васю. А он, точно ждал этого толчка, вдруг выкрикнул своим тонким голоском:

— Так точно, товарищ полковник! Не дают нам разжиреть! А как же без жирка воевать с самураями, товарищ полковник?

Полковник удивленно вскинул седые брови, улыбнулся:

— Молод, видно, еще солдат. Нужен жирок на войне или нет, спроси-ка у этих гвардейцев! — Полковник обернулся к фронтовикам, которые все еще стояли отдельно (везет людям — и бегать не бегают, и стойку «смирно» выдерживают без натуги). — Ну, как дела, старики? Снова придется нам воевать.

Опять раздался пронзительный голосок Васи Колбаскина:

— Обязательства перед союзниками, товарищ полковник?

Все засмеялись. Все, кроме полковника.

— Нет, не только обязательства, сынок. Пока у наших границ стоит миллионная Квантунская армия, нам не будет покоя никогда. Помните озеро Хасан, Халхин-Гол?

Стоявший рядом капитан вдруг весь напрягся, побледнел и глухо проговорил:

— А интервенция двадцатых годов? А Сергей Лазо? Помните?

— Помним, товарищ гвардии капитан! — снова, уже в третий раз, закричал Вася.

Полковник широко открыл глаза.

— Вот это солдат! Сам с ноготок, а голосом камень про-сверлит! — Посерьезнев, обернулся к капитану: — Ну, что ж, Газиев, принимай молодежь в свой батальон. Пусть твердо усвоят: отныне они будут служить в Сто семнадцатом гвардейском ордена Суворова десантном полку!..

И, сев в свою амфибию, Белобородов покатил по ровной степи дальше, к другим — их и отсюда было видно — ротам и батальонам «курортников».

Гвардии капитан Газиев — теперь, когда полковник назвал его фамилию, я не сомневался в том, что он узбек, — еще раз прошел вдоль нашего строя. Чуть загорелое, горбоносое лицо его со сжатыми губами было строго, замкнуто. Около нас с Арсланом он остановился. Вид у меня был, наверное, глуповато-радостный: свой командир — узбек, черт возьми! Капитан неожиданно обратился ко мне:

— Чему это ты улыбаешься, солдат?

— Никак нет, не улыбаюсь, товарищ гвардии капитан...

Карие глаза офицера чуть сузились, уголки тонких губ дрогнули.

— Откуда будешь тогда, не улыбочивый?

— Из Чимкента, товарищ гвардии капитан.

— Из Чимкента, говоришь? Из самого города?

— Нет. Кишлак Карасув. Оттуда буду, товарищ капитан.

— Карасув? — переспросил он, как мне показалось, растерянно.— Из Карасува... Как фамилия?

— Мурадов. Мансур Мурадов, товарищ капитан.

— Вон как...— Капитан помолчал с секунду.— А ты хорошо говоришь по-русски. Где учился?

— Раньше жили в городе, товарищ капитан. До шестого класса учился в русской школе.

Капитан оглядел меня с головы до ног и спросил:

— Ну, а с почерком у тебя как? — Газиев вытащил из своего планшета карандаш, толстую тетрадь в черном коленкоровом переплете, протянул мне. Я сунул пулемет Васа, расписался.

— Так.— Капитан обернулся назад и позвал: — Харитонов!

Из группы офицеров вышел молоденький русоволосый старший лейтенант. Тоже вся грудь в орденах, а ямочки на щеках — как у девушки.

— Этого солдата переведешь в распоряжение Дмитрия Михайловича.— Пожилой, вроде как наш мираб из Карасува, старшина с обвислыми седеющими усами кивнул. Капитан снова обернулся ко мне.— Будешь писарем в штабе батальона... Не возражаешь? — добавил он вдруг по-узбекски.

Меня опередил Арслан.

— Станет он возражать — он у нас поэтом считается, товарищ капитан. День и ночь строчит и строчит...

— Так нет возражений?

В знак согласия я молча склонил голову.

2

В прибывшем в Монголию большом эшелоне было всего четверо узбеков и один казах. Мы с Арсланом попали в первый батальон, Шоюсуф, тоже из нашего кишлака парень, и казах Серкабай — в третий. А вот кому здорово повезло, так это Мирхайдару. У длинного, на редкость неуклюжего, за что и прозван он был Верблюдом, детины была одна-единственная забота — насыщение своего чрева, и как раз Верблюду-то на удивление всем попал на службу в продовольственные склады полка.

Услышав про это, мы от смеха чуть животы не надорвали.

— Послали волка овечий загон стеречь,— сказал Арслан.— Какой глупец додумался до такого решения?

— Почему же глупец? — Мирхайдар сморщил мясистый нос.— Спросили, чем я до армии занимался. А я в рабкоопе был. Тогда спросили, хочу ли в ПФС¹. А что, по-твоему, мне надо было отказаться? Ну, уж нет,— это вы в бой рветесь, особенно Арсланшер², так на то он и лев, а я сказал, что с удовольствием буду работать... с продовольствием...

¹ ПФС — продовольственно-фуражная служба.

² Арсланшер.— В узбекском языке словз «арслан» и «шер» обозначают «лев».

— Ты-то, конечно! Только что будет с нами, бедными, если ты будешь заправлять складом?

Мирхайдар хохотнул.

— Не бойся, браток. Будет полон мой котел, не останется пустым и твой черпак!

Ну ладно, у каждого, как говорится, свой путь в жизни. Пятеро земляков, мы обнялись, расцеловались, да так крепко, будто и не увидимся больше...

Вечером, после того как Белобородов и Газиев устроили смотрины новобранцам, я сдал свой ручной пулемет Васе и, затолкав небогатые свои пожитки в вещмешок, направился в штаб, со страхом ожидая того, что мне там приготовила судьба.

Штаб батальона тоже размещался в палатке, только палатка эта стояла чуть выше наших, солдатских, на гребне еще не окончательно выгоревшего под солнцем холма.

Арслан провожал меня до штаба. Он никак не мог успокоиться из-за того, что капитан Газиев, оказывается, знал о нашем кишлаке. То и дело обтирая пилоткой голову, «лев» удивлялся:

— Откуда он знает наш Карасув, а? Может, он из соседнего кишлака? А вдруг он тоже карасувец?

— Ну и что, если так?

— Как «ну и что»? Вот ты уже писарек! Если и дальше так пойдет, глядишь, выскочишь в ефрейторы. А дальше, что тебе стоит, и в генералы.

— Буду генералом, возьму тебя в денщики! — отбивался я.

— Ну, такой генерал, как ты, будет мне самому сапоги чистить! — острил Арслан.

Вот и палатка. Над входом в нее табличка — «Штаб». Арслан, крепко пожав мне руку, снова не удержался:

— Не задирай своего начальственного носа, о писарь-визирь, не забывай о нас, простых смертных...

— А ты заходи, заходи... Начальник я не из строгих, может быть, тебя и пропустят ко мне, — отшучивался я, жалея в эту минуту, что не будет теперь рядом ни красно-белого Васи, ни этого задиристого «льва».

Арслан повернул назад. А я вступил в палатку, откинув дверь-полог.

Вступил и, как говорят в романах, застыл от неожиданности.

В центре палатки, за походным столиком, сидела, глядясь в маленькое круглое зеркальце и расчесывая распущенные по плечам рыжевато-золотистые волосы, девушка лет двадцати. Судя по погонам, младший лейтенант. Оторвав глаза от зеркала, девушка удостоила взглядом и меня. У нее были необычайно большие и голубые-голубые, как наши карасувские родники, глаза. Мне показалось, что вся палатка залита мягким голубым светом — так хороша она была, девушка-пери с погонами младшего лейтенанта.

Младший лейтенант сначала удивленно уставилась на меня,

потом, перехватив мой взгляд, невольно задержавшийся на ее оголенных коленях, одернула юбку и быстро встала.

— Что должен делать солдат, когда видит командира?

Голос прозвучал решительно, но зеркальце, которое она, боясь уронить, держала в руке, распущенные волосы, и еще орден и медали, смешно топырящиеся на ее по-молодому высокой груди,— все это противоречило строгому голосу, и я еле удержался от улыбки. Но вытянулся:

— Виноват, товарищ младший лейтенант!.. Рядовой Мурадов прибыл в штаб по приказу гвардии капитана!

— А, ты и есть тот солдат, о котором говорил капитан? Значит, он подобрал себе писаря из земляков!

Ее слова задели меня. Младший лейтенант, почувствовав это, слегка сощурила свои роскошные голубые глаза и протянула мне руку.

— Ну, будем знакомы. Оля... младший лейтенант Куприянова.

Улыбаясь, я пожал ее маленькую узенькую ладонь.

— Солдат Мансур Мурадов.

Она снова нахмурила брови.

— Что тут смешного?.. А ну, смирно!

Я снова покорно вытянулся.

— На фронте был?

— Нет, товарищ младший лейтенант.

— Пороху не нюхал, а загадочно улыбаешься... Молод еще! Понятно?

— Понятно, товарищ младший лейтенант.

— Ладно... Будем вместе работать... Вот этот сундук — твой. В нем штабные документы. По ту сторону сундука будешь спать ты, по эту — я... Все, я пошла. Спросит капитан, скажешь, что я в первой роте. Понятно?

Она быстро, я моргнуть не успел, заплела косы, как-то по-особому сложила их на голове, надела пилотку, которая сразу сделала ее очень похожей на лихого молодца-офицера, и решительно шагнула к пологу-выходу.

Откинув эту палаточную дверь, Оля чуть не столкнулась с внезапно возникшим у входа высоким мужчиной. До черноты смуглый офицер — я сразу заметил: капитан! — тоже бросался в глаза какой-то особой лихостью — фуражка набекрень, из-под нее кудрявый, пышный чуб, вид подтянутый и озорной.

Капитан быстро отступил перед Олей на шаг назад, молодцевато приосанился.

— Здравствуйте, товарищ младший лейтенант.

— Здравствуйте.

Оля остановилась. Черные глаза капитана изумленно расширились, под тоненькими, очень эффектными усиками засияла восторженная улыбка.

— Будем знакомы, товарищ младший лейтенант,— энергичным мужским жестом он протянул Оле руку.— Артем.

— Оля.

Капитан, кажется, сразу и целиком вобрал в себя младшего лейтенанта: его глаза не отрывались от Оли, белые, как сахар, зубы сверкали.

— Вот так здорово! Такая очаровательная девушка в нашем полку, а я не в курсе дела.

Младший лейтенант тоже засмеялась.

— И вправду странно. Я не первый день в части и тоже не видела вас.

— Исправляйте ошибку, хотя она и не удивительна: всего три дня, как я прибыл в ваш полк, Оленька. Прямо с Кавказа,— сказал он, сделав, как мне почудилось, загадочное ударение на слове «Кавказ».— Никак не могу привыкнуть к этой жаре. И вам, наверное, трудно, Оленька?

— Да нет, привыкаю...

— Ах, оставьте! Что вам в этой степи? Вам бы жить и цвести у нас в горах...

Оля обернулась и бросила на меня лукавый взгляд.

— Вы говорите так, будто сейчас же увезете меня на Кавказ.

— С великим удовольствием, если вы согласитесь...

— Договорились. Сразу поедем, как только получите разрешение начальства.— Оля выбралась наконец из палатки и, постукивая каблуками брезентовых сапожек, побежала в сторону речки.

Капитан замороженно следил за ней, потом кашлянул и посмотрел на меня.

— Хороша девка, а, солдат? — Помолчав, подмигнул и добавил: — М-да, комбат, видно, не дурак.

— Что? — Я сделал вид, что не понял намека.

— Что, что, простак ты, вот что.— Капитан по-свойски надвинул пилотку мне на глаза.— Комбат-то где?

— Не знаю...

— Придет, скажи, пусть позвонит в полк, капитану Ногаеву, Артему Ногаеву. Понятно? — Он еще раз посмотрел в ту сторону, куда ушла Оля, вздохнул и, звеня шпорами, тоже удалился. Его путь был в лощину, где виднелись громадные палатки полковых ПФС.

«Артем Ногаев... а почему не Ногаидзе? Не Ногаян? Наконец, не Ногай-заде, если кавказец?»

Я попробовал растянуться на соломенной циновке, покрывавшей земляной пол около сундука... «По ту сторону сундука будешь спать ты, а по эту — я...» Сундучок-то довольно низенький. Я невольно усмехнулся: поживем — увидим, товарищ кавказский капитан.

В палатке с приподнятыми краями и откинутым пологом было прохладно, да и дневная жара несколько спала. Повеял вечерний ветерок.

Отсюда, со склона холма, на котором стояла палатка комбата, все вокруг просматривалось как на ладони. До подножия гряды

далеких плоских то ли гор, то ли опять же холмов раскинулась коричневая, уже выгоревшая, степь. Ближе к нам она была перечеркнута рядами бесчисленных палаток, а поодаль палаток не было; там виднелись накрытые брезентом пушки, танки, какие-то брички, паслись лошади. Вились дымки походных кухонь. Слышался гомон солдат, где-то попискивала гармошка. И все это, слившись в единую картину и в единый звук, парящий над степью, напоминало временную стоянку войск из каких-то древних-древних сказаний... Здесь и впрямь стоянка была временной, но только войска были другие, совсем не древние.

В этой знойной легендарной степи создавались новые соединения Забайкальского фронта. Через несколько дней они должны были стремительным маршем двинуться к границам Маньчжурии...

— А, Мансурбек! Пришел?

Я вскочил с циновки.

— Товарищ гвардии капитан! По вашему приказанию...

— Сиди, сиди... Вольно...— Бросив на сундук блестящий кожаный планшет, капитан начал снимать с себя амуницию.

— Вот что, Мансурбек. Начштаба нашего батальона заболел, лежит в медсанбате. Пока он нас догонит, ты будешь заправлять тут всей писаниной. Что будет непонятно, спросишь у младшего лейтенанта Куприяновой или у старшины Сало... Чего улыбаешься? — Это он спрашивал сегодня в третий раз. Я покраснел.

— Виноват, товарищ капитан. Вы сказали: Сало... Смешная фамилия. А в нашем взводе есть солдат Вася Колбаскин...

— А-а...— засмеялся капитан.— У нас, узбеков, тоже бывают такие фамилии, что не дай бог... Значит, будешь работать со старшиной. Ну а теперь давай поедим, что аллах через ПФС нам послал...— Капитан достал откуда-то из-за сундука котелок каши, обмотанный чистой тряпичей, чтобы не остыла («Женская рука в доме»,— подумал я), буханку ржаного хлеба, завернутую в газету, и, пригладив свои густые каштановые волосы, подсел к столику.

— Бери ложку, садись!

Смущаясь, я сел напротив комбата. С аппетитом уничтожая жесткий хлеб и все-таки холодную кашу, капитан неожиданно спросил:

— А этот... Карасув, Мансурбек, хороший кишлак?

Опять Карасув!.. Я удивленно уставился на комбата.

— Ой, что вы, товарищ капитан! Весь в садах. На каждом шагу у нас родники, голубые-голубые...

— Вон как,— произнес капитан и почему-то нахмурился.— А ты... случаем... не знаешь мельника Саидикрама?

Я даже растерялся. Что за вопрос?!

— Да как же не знать? Всегда молот пшеницу на его мельнице...

— Тогда ты должен знать и его дочь... Саломатхон.

Я почувствовал, как вдруг бешено заколотилось сердце. — Знаю. Но вы... Вы-то откуда знаете ее, товарищ капитан?

Газиев стоймя воткнул ложку в кашу. Поднялся.

— Я ее знаю потому... — произнес он, — потому что учился вместе с ней в техникуме...

— Правда? Тогда вы, наверное, должны знать, что Саломатхон...

— Как там старик? — перебил меня капитан. — Как он себя чувствовал, когда вы из кишлака выехали?

— Неплохо, только... после извещения о смерти старшего сына немножко сдал... А после того, как я был уже в армии... — Я не договорил: резко зажужжал полевой телефон.

Капитан взял трубку, на секунду приложил ее к уху и, тут же сказав: «Есть, товарищ полковник», — стал поспешно собираться.

— Я буду в штабе полка. Возможно, вернусь поздно. А ты пока отдыхай... Гляди-ка, чуть мы с тобой земляками не оказались! — Комбат подмигнул мне и, надев фуражку, вышел из палатки.

Я вспомнил про визит Ногаева.

— Даврон-ака! — крикнул я вдогонку Газиеву, опять нарушив устав (не по правилам обратился!). — Какой-то Ногаев просил вас позвонить.

— Кто? — остановился комбат.

— Ногаев. Капитан Ногаев.

Даврон-ака нетерпеливо махнул рукой и быстро зашагал прочь.

«Карасув. Мельник. Саломатхон... Кто же он им, капитан Даврон-ака Газиев?..»

3

...Теплый летний вечер тысяча девятьсот сорокового года. Во дворе нашей школы стоит четырехколесная арба, доверху нагруженная пахучей сухой соломой. Я лежу на этой соломе.

В тот исторический день мне в пятку воткнулась иголка. Воткнулась, сломалась и оставила кусочек в пятке. Меня отправляют в городскую больницу. На той же самой арбе вместе со мной должна поехать целая группа окончивших семилетку. Я останусь в городе. А они сядут в поезд, который повезет их в Ташкент, — будут учиться дальше.

Две арбы, отправляющиеся в город, окружило чуть ли не все население кишлака. Ребята нарочито громко смеются, храбрятся, девчата не могут отойти от матерей и бабушек, то и дело утирающих слезы... Ждут Саломатхон. Наконец слышатся голоса: «Идет, идет!.. Вот она... Ну, где ты там пропадала, милая?..»

Я приподнимаю голову: ах, Саломатхон, Саломатхон... яркое атласное платье, златотканая тюбетейка, букетик райхона — базилики в руках... Она подбегает к арбе и бросается в объятия подруг... Я не должен смотреть... Я не могу оторвать от нее взгляда.

Неделю назад, на вечере выпускников, я впервые услышал ее пение и с тех пор не могу понять, что со мною происходит, когда думаю о ней, а думаю о ней я теперь всегда, все время... Вот и сейчас думаю: не успела появиться она, как все вокруг вдруг посветлело, засияло, будто наступило полнолуние.

Отец Саломат, густобровый, красивый старик (борода и усы у него вечно в мельничной пыли), целует дочь в лоб и подводит ее к «моей» арбе. Я весь съезживаюсь от какого-то сладостного страха, от предчувствия чего-то удивительного.

Саломат первой из девчат залезла на арбу, села у моего изголовья на палас и, поправив платье, нагнулась ко мне, распростертому, несчастному инвалиду.

— Это вас поранила иголка?

— Да...

— Болит нога?

— Нет, пустяки, — отвечает храбрец, и впрямь не чувствуя боли. Если бы не паника соседок и не страх мамы («Игла, оставшаяся в пятке, дойдет вместе с кровью до сердца!»), я, может быть, и в самом деле не поехал бы в больницу, а может быть, поехал бы все-таки...

Саломат, не поверив моему храброму «нет», покачала головой:

— О, какой вы терпеливый! Если бы это со мной случилось... Наверное, я лежала бы и орала сейчас во всю мочь! — Она гладит рукой мои волосы. Ее смеющиеся глаза, сияющее счастьем лицо, ласковые теплые пальцы — все в ней кажется мне таким прекрасным, что я, точно заколдованный, смотрю на нее. Затем, смутившись, отворачиваюсь. Мужчина называется. Что это я, влюбился, что ли?

— Хочешь яблоко? — вдруг обращается ко мне на «ты» Саломат и вынимает из своего хурджуна большое белое яблоко. Протягивает мне. Я послушно беру его, забыв произнести «спасибо». Я не хочу смотреть на Саломатхон, не должен смотреть. А она, с хрустом откусив другое яблоко, пересаживается к подругам. Начинаются девчоночьи перешептывания, хихикания.

Зажав яблоко в ладонях, я подношу его к носу. Приятный аромат яблока, смешанный с тонким запахом базилики. Это от букета райхона, что держала в своих руках Саломатхон... Или от ее рук, таких нежных...

Я закрываю глаза, и мне чудится, что я не на арбе, а в легком челноке, плывущем по большой и тихой реке. Сквозь эту странно-блаженную дрему слышу, как парни — ну да, они ведь там, на другой арбе, впереди — заводят длинную и печальную песню о разлуке, о вечной любовной тоске.

Будь сердце словно лед, но и оно
От мук моих, конечно бы, растаяло.
Но что они тебе? Не все ль тебе равно?
Покинула меня, страдать оставила.

Мне кажется, что джигиты поют для одной Саломат: она уезжает, покидает их, такая девушка...

Точно подтверждая мою мысль, из темноты позднего вечера звучит, слышу, чей-то басок:

— Саломатхон! Спойте разок! Как знать, доведется ли нам еще раз услышать ваш голос?

— Ой, почему это вы так говорите? — с упреком отвечает Саломат.

— А кто его знает? Вы едете в большой город, покидаете родное раздолье... Спойте!

Девчонки на моей арбе поддержали басовитого джигита, защебетали:

— Спой же, спой, Саломатхон!.. Не заставляй просить их снова... Спой для всех нас...

Мне тоже очень-очень хочется, чтобы Саломат спела, почему я не догадался попросить ее об этом первым?

Услышать ее голос, изумивший меня чистой красотой недавно, на выпускном вечере, в школьном саду, — разве это не счастье?

Саломат предлагает:

— Девушки, давайте вместе споем «Ёр-ёр»! — И, не дожидаясь ответа, тихо начинает:

Цель далека, а мой конь изнемог.
Не осилю пути, ёр-ёр, не осилю пути.
Река глубока, и поток валит с ног,
Не могу перейти, ёр-ёр, не могу перейти...

Девчата подхватывают:

Река глубока, и поток валит с ног,
Не могу перейти, ёр-ёр, не могу перейти...

Светлое и грустное чувство переполняет меня. Я приподнимаю голову и вижу, как широкая степь, закутанная в темную одежду надвигающейся ночи, и холмы, подремывающие, будто сытые ягнята, и казахские аулы, мерцающие где-то вдали редкими огоньками, и звездное небо — как все вокруг слушает девичью песню. Слушает — и чудится мне — желает счастья, одного только счастья нашим ласточкам — так называли этих девушек старушки в кишлаке, ласточкам, впервые улетающим в дальние края.

Я снова опрокидываюсь на спину. И снова мне кажется, что не арба покачивается подо мной, а легкая лодка плывет по тихой реке и вдали мерцает не свет казахских аулов, наших соседей, а огни пароходов, то зажигающиеся, то гаснущие,

и оттуда, с этих далеких пароходов, несется светлая и грустная мелодия:

Цель далека, а мой конь изнемог.
Не осилю пути, ёр-ёр, не осилю пути.
Река глубока, и поток валит с ног,
Не могу перейти, ёр-ёр, не могу перейти...

Я закрываю глаза. Я заснул, но нет, я не сплю, ведь я чувствую, как чьи-то пальцы гладят мои волосы, мое лицо. Я просыпаюсь.

Девчата уже не поют больше. Саломат разостлала ватное одеяло рядом со мной.

— Не холодно? — спрашивает она, услышав, как я заворочался.

— Нет...

— К утру падет иней.— Саломат кладет поверх моего толстого одеяла верблюжью войлочную накидку, затем сама закутывается, смеясь от удовольствия, в свое одеяло. Минуту спустя я различаю шепот одной из подружек:

— Саломатхон, а Саломатхон? Ты не спишь?.. Не боишься ты?.. Города, говорю, не боишься?

— Города?.. А ты?

— Мне-то что!

— А мне?

— Ну, ты красивая! К таким, как ты, все парни пристают.

— Скажешь тоже!

...Утром меня разбудил арбакеш. Арба стояла около больницы, и не было рядом ни Саломатхон, ни ее подружек.

Долго еще тосковал я по той теплой летней ночи, по грустной песне Саломатхон. И, видно, поэтому, когда по кишлаку прошел слух, что «Саломат с кем-то сбежала из техникума», я несколько дней ходил сам не свой.

Да, слухи о девушке были один другого страшнее.

«Саломатхон сошлась с негодяем...»

«Джигит, с которым сбежала Саломатхон, выгнал ее из дому...»

«Саломатхон попрошайничает...»

Были первые дни войны. Как-то, проходя мимо гузара, я услышал громкую брань, несшуюся из чайханы. Я заглянул в чайхану и увидел на сури под чинарой группу молодых парней в белых шелковых рубашках. Это были те самые ребята, что уезжали из кишлака на учебу, а с началом войны вернулись обратно. Перед ними стоял старый мельник, отец Саломат. Как обычно, мучная пыль покрывала его бороду и усы. Рубя ладонью воздух, мельник хрипло кричал:

— Кто скажет про вас, что вы джигиты? Усы-то вон растут, но были бы вы джигитами, разве допустили бы, чтобы мою дочь украл чужак? Упустили из рук, а теперь распространяете подлые сплетни о ней! Хвала тому, кто увел из-под носа таких растяп мою дочь,— вот он мужчина!

Парни сидели, опустив головы, да и что они могли сказать? Мельник бранил их, ругал Саломатхон последними словами, но ведь по лицу старика катились слезы.

Я молча повернул назад.

Прошло два года. Мое полудетское чувство к девушке с чудесным голосом выветрила война, ее заботы и трудности. Да и о самой Саломат не было ничего известно. Только изредка, когда мне приходилось отвозить пшеницу на мельницу и видеться с отцом девушки, вспоминалась давняя тихая летняя ночь, звездное небо, песня «Ёр-ёр». Старый мельник сиднем сидел в полутемном, сыром и ветхом помещении, опустив голову, закрыв руками белое от мучной пыли лицо. На полу перед ним всегда стоял чилим. Старик не обращал внимания на приходивших и уходивших людей. Лишь изредка он бросал им: «Забери. Оставь». Женщины шептали: «Несчастный! Как лишился любимой дочери, так и разум помутился у него».

Прошел еще год. Было начало октября, но в школе занятия не начинались. Все мы — и те, кто подрос, и помоложе — работали в колхозе. Я и Арслан — арбакешами.

Как-то Арслан повез хлопок в город на хлопкозавод и вернулся оттуда вечером возбужденно-радостный.

— Знаешь, кого я доставил из города?

— Ну?

— Дочь мельника. Помнишь? Саломатхон, которая перед войной сбежала с чужим джигитом в Фергану. Вот ее... Ну и красавица, я тебе скажу. Недаром страдали по ней наши ученые джигиты...

— Ты что, втюрился, что ли?

— Я? Скажешь тоже... Мне-то что, вот ты, поэт, поберегись! Увидишь — сразу с ума сойдешь!

Я сделал вид, что смеюсь над словами Арслана, но втайне всей душой рвался к Саломатхон. Несколько раз на мельницу наведывался, вдоль их сада патрулировал, но Саломат так и не встретил.

А слухи, самые разные, поползли опять по кишлаку.

«Муж бедняжки на фронте погиб...»

«Брат мужа хотел жениться на ней, а она, видишь, не захотела, обычай нарушила».

«Родственники мужа заперли ее в ичкари, но Саломат сбежала»...

Неожиданный случай помог мне увидеть ее.

Однажды к нам в бригаду заявился секретарь кишлачного совета.

— Вечером в колхозном саду состоится встреча с героем войны. Берите дутары, и чтоб без опозданий!

Группа юношей и девушек организовала тогда кружок художественной самодеятельности; в длинные зимние вечера мы, как могли, развлекали людей своими концертами.

Герой войны был уроженцем соседнего кишлака, он вернулся с фронта раненым, и вот уже неделя, как по всему району одна встреча с ним сменяла другую. Вечером художественная самодеятельность без опозданий пришла в колхозный сад; там вокруг столов, на которых лежали одни фрукты, уже сидели человек тридцать колхозников из районного актива.

Герой, вопреки моим ожиданиям, оказался молодым застенчивым парнем. Он сидел на почетном месте, рядом с председателем райисполкома, потупив взгляд, стесняясь своей известности. Только было председатель поднялся со стула, намереваясь открыть торжество приветственной речью, как начался среди присутствующих какой-то легкий переполох. Я оглянулся на калитку: с улицы в сад входила группа женщин, и среди них — Саломатхон... В ярком атласном платье и в белых, довоенной моды, туфлях на высоких каблуках она выглядела так же молодо и прекрасно, как в далекий выпускной вечер. Смущаясь и робея, она пряталась за другими женщинами, потом торопливо опустила на крайнюю скамейку.

Арслан саданул меня в бок: «Ну, как?» И вздохнул: «Ох, зачем мать Арслана не родила его на пять лет раньше?»

Женщин пропустили вперед, поближе к герою и председателю райисполкома. Председатель все-таки произнес речь, затем предоставил слово виновнику торжества. Молодой парень-тракторист, краснея и заикаясь, рассказал нам о фронте, о боях, в которых он участвовал. После него очередь была за нами, музыкантами. Но не успели мы взять в руки дутары, как со всех сторон послышались просьбы: «Пусть Саломатхон спое что-нибудь!»

Саломат согласилась не сразу, но и отнекивалась недолго. Помню, первой была моя любимая песня «Вечно ищущая», а вторая — недавно появившаяся песня о фронтовиках — «Жду не дождусь». Голос ее не потерял звонкой чистоты, но лишь стал сильнее и, как мне показалось, печальнее. «Жду не дождусь» она спела так, что растрогала всех, а женщины, конечно, всплакнули... Певица стояла рядом с музыкантами, немного впереди их, по правую сторону от меня, держась за спинку стула и чуть подавшись вперед. Я не видел лица Саломат, только длинные каштановые косы, падавшие по спине до подола платья, видел я и ощущал тонкий аромат базилики. Всклипывали солдатки, и у меня тоже защищало что-то в глазах.

Когда встреча закончилась и я, с дутаром под мышкой, направился к воротам, Арслан придержал меня за руку и отвел в сторонку.

- Постой-ка, проводим девушек сначала.
- Это, еще зачем? — удивился я.
- Так надо! — сказал Арслан. — Потом поймешь...

Минуту спустя мимо нас, тихо переговариваясь, прошли женщины. Кто-то грузно протопал вслед за ними. Знакомый голос секретаря кишлачного сельсовета позвал:

— Саломатхон!

Женщины остановились.

— Лаббай? ¹

— Вы идите, бабоньки, идите. Мне надо кое-что сказать Саломатхон...

— Нет уж, постойте, сестрички.— Голос Саломат звучал довольно решительно.— Или у вас, товарищ секретарь, какой-нибудь секрет?..

— Н-н-нет... то есть да... там у нас, в одном месте, собирается компания, красавица,— заюлил секретарь.— Мы приглашаем вас, Саломатхон...

— Спасибо.

— Председатель лично просил... Посторонних не будет. Интимно, так сказать.

— Скажите председателю, что я не хожу в интимные компании.

— Подождите, Саломатхон, да постойте же.— Секретарь, видно, взял ее за руку.

Послышался резкий оклик Саломатхон:

— Уберите руку!

Арслан громко кашлянул. Секретарь, видно, струсил. Свидетели ему не были нужны. В темноте послышался смех удалявшихся женщин. А секретарь выругался сквозь зубы и затопал обратно.

Арслан шепнул мне:

— Ну, понял теперь, зачем я тут остался? Вот она какая, Саломатхон! Молодчина!

Долго в ту ночь мы с Арсланом, оба в прекрасном настроении, точно выиграли крупный приз на улаке, бродили по безмолвным улочкам кишлака и говорили, говорили друг другу о Саломатхон, об ее красоте, чистоте, голосе и уме.

А через два месяца, в конце декабря, нас призвали в армию. Среди призванных была и младший сын мельника, братишка учительницы Саломатхон (она стала работать в нашей школе, преподавать литературу в пятых-шестых классах). Вместе с другими кишлачными женщинами она до самого вокзала шла за арбами, нагруженными вещами новобранцев. На ней было поношенное пальто с бобровым воротником, голову покрывал старый свалевшийся пуховый платок. Помню, на перроне Саломатхон стояла в стороне от всех и держала братишку за руку, как учительница — первоклассника. Она не голосила, подобно другим женщинам, не рыдала, только часто утирала глаза.

Вместе с ее братом мы несколько месяцев прослужили в запасном полку. Не раз я хотел расспросить его о том, что

¹ «Слушаю вас», обращение к спрашивающему.

же случилось с Саломат в городе, но так и не решился. Как-то он получил письмо из кишлака и разоткровенничался сам. Все слухи и сплетни о Саломатхон были вздорной бабьей болтовней. А правда была в том, что от ее мужа, офицера, вот уже год как нет писем. Пропал без вести.

Брат Саломатхон попал в другой эшелон. Их довели до Читы, затем направили на Дальний Восток, а мы повернули в Монголию...

...Неужели мой комбат, Даврон-ака Газиев, и есть тот самый джигит, который отбил Саломатхон у парней нашего кишлака, и это о нем, размазывая слезы по морщинистому лицу, старик-мельник сказал: «Молодец джигит. Настоящий мужчина!»? Или капитан лишь один из тех меджнунов, что косяками ходили вокруг красавицы Саломат, да так и остались ни с чем?..

Воспоминания и вопросы разбредили меня. Я накинул на плечи шинель и вышел из палатки.

На степь опустилась прохладная летняя ночь. Бесконечные ряды палаток, машины, танки, пушки — все, что было видно днем и поражало воображение, окутано мягкой темнотой, ровной, одинаковой, такой, какая бывает только в пустыне. Даже вокруг редких огоньков нет мерцания: желтые точки — словно проколы на черном занавесе.

Я ложусь на жесткую чахлую траву, гляжу в небо. Такие крупные и белые звезды могут быть только в небе над степью... Вон — семь братьев-разбойников, еще выше — россыпь Млечного Пути, будто золото, рассыпанное по бархату... А ниже Млечного Пути — крупная звезда, Венера.

Мне опять вспоминается кишлак... Год назад, точно в эти дни, мы вдвоем с Арсланом косили пшеницу в нашей чимкентской степи. С необычайной остротой я представляю себе золотистое пшеничное поле, грубо загорелые лица женщин и девушек в цветастых платках, дымок тандыра, где пекутся вкусные лепешки.

Сердце стеганула пронзительная боль: далеко, ох как далеко от родной земли забросила меня война!

Хорошо бы мой комбат и впрямь оказался тем джигитом, которого полюбила Саломатхон!

Я встал, почувствовал ночной холод.

Погасли уже все огоньки лагеря, свет горел только в штабной палатке. Моей палатке. Я подошел к ней, но, услышав сначала звонкий смех Оли, а потом — раскатистый — гвардии капитана, невольно остановился.

— Если он интендант... то почему же носит форму офицера кавалерии? — Это спросила Оля.

— Он такой же кавалерист, как и кавказец, — это Даврон-ака. — Знал я еще одного такого же: не грузин, не армянин, не из Дагестана, а как увидит красивую женщину, сразу про «сол-

нечный Кавказ» намекает. Видно, вам перед Кавказом устоять трудно. А?

Оля весело засмеялась. Затем смех перешел в шепот. Послышался звук, похожий на поцелуй. Он, этот звук, словно фугаска, взорвал созданную моей фантазией причудливую сказку о любви неизвестного джигита к известной мне Саломатхон. Чувство непонятого стыда было так сильно во мне, что я весь съежился и на цыпочках опять ушел от палатки...

4

Итак, я писарь штаба первого батальона гвардейского ордена Суворова десантно-штурмового полка...

Бумаг было много. Списки личного состава (от формы номер один до формы номер десять), всякие там перечни продуктов питания и обмундирования, вплоть до ложек и мисок, тысячи пунктов и сведений, которые надо было подавать в штаб полка. Занимались всем этим хозяйством в основном я и старшина Сало. Иногда — с помощью младшего лейтенанта Куприяновой. Она была фельдшером батальона, но солдаты здоровы, как... солдаты, поэтому у нее свободного времени было много, и Оля охотно помогала мне.

Днем комбат проводил в степи занятия, нередко отлучался он и в штаб полка на разные совещания, а в минуты отдыха или читал, или учился у Оли немецкому языку. Вечерами собирались в палатке офицеры, пели песни, вспоминали фронт: командир первой роты, старший лейтенант Харитонов, розовощекий, с ямочками как у девушки, балагурил вовсю. О нем я узнал, что был отчаянным смельчаком — разведчиком. От него же слышался я таких «боевых эпизодов», рассказов о встречах с немцами в их тылу, что дух захватывало.

Иногда, оставшись один, капитан Газиев вынимал из планшета тетрадь в блестящем переплете из коленкора и принимался что-то в нее записывать.

Я тогда — тайно от всех — сочинял стишки, и, должно быть, поэтому меня очень интересовало, что это пишет в тетради комбат. Очень хотелось полистать как-нибудь толстую тетрадь в черном переплете. Бывало, Оля спрашивала шутливо:

— Когда дадите нам прочитать свое великое творение, товарищ гвардии писатель?

На что капитан, улыбаясь, отвечал:

— Великие творения, товарищ младший лейтенант-медик, годами пишутся. Потерпите немножко. Прочитаете, когда мое сочинение потрясет мир.

И оба начинали смеяться.

Что скрывать, я завидовал комбату. Оля держалась со мной просто, по-товарищески. Она не требовала, чтобы я стоял перед ней навытяжку, и это, конечно, мне льстило. Правда, другое

удручало: Оля была со мной ласкова, как бывают ласковы старшие с каким-нибудь совсем уж молоденьким пацаном. Самолюбие солдата и мужчины страдало! Я, кажется, тайно ревновал ее и к Даврону-ака, и к этому Ногаеву, который вился вокруг Оли, словно муха вокруг банки с медом.

Однажды — это было вечером перед ужином, я шел, барабана в свой котелок, на кухню — наткнулся я на Мирхайдара — «верблюда», того самого земляка, который, на удивление нам всем, устроился в ПФС. Ого, было от чего раскрыть рот в удивлении: Мирхайдар красовался в новенькой — офицерской! — гимнастерке, на голове у него лихо сидела свеженькая, без единой пылинки и пятнышка, пилотка, а вместо солдатских ботинок поскрипывали хромовые сапоги. Всегда ходивший будто в воду опущенный, мой карасувец выглядел сейчас словно бравый генеральский ординарец.

— Ба, Мирхайдар! Ты ли это, верблюжонок мой!

— Он самый! — Лицо Мирхайдара расплылось в улыбке.

Опустив на землю набитый чем-то вещмешок, он протянул мне руку.

— Как поживаешь, браток?

— Да, так, служим помаленьку. А ты, я вижу, процветаешь?

— Твоими молитвами и всемогуществом аллаха.

— Куда путь держишь, генерал?

— Во-первых, хотелось тебя повидать, проконтролировать, как там наш карасувский писарь выполняет долг перед родиной. Ну, и еще есть одна задача. — Мирхайдар вдруг подмигнул глазами-бусинками, сначала левым, потом правым, улыбнулся странной улыбкой и спросил: — У вас есть такая... Оля Куприянова?

— Какая это такая?.. Младший лейтенант Куприянова?.. Есть. А что?

— Да так... мой хозяин послал меня кое-что передать ей.

— Какой твой хозяин?

— Э, чудак! У меня один хозяин — капитан Ногаев... Оляхон в штабе?

— Ну?

— Если в штабе... — Мирхайдар протянул мне вещмешок, — занеси-ка, отдай ей... тут подарки...

— Нет уж, кому нужно, тот пусть сам занесет. Только ему надо бы поостеречься, а то вдруг она этим вещмешком да по роже... дарителю.

— Дуралей ты мой! — Мирхайдар откровенно рассмеялся. — Такой офицер, как мой хозяин, капитан Ногаев, подарки шлет, а Оля твоя еще будет отказываться? Эх ты, молокосос. Не знаешь ты женщин!

— Давай, давай, проваливай. Поживем — увидим, «кавказец»! — сказал я, вспомнив ночной разговор Оли и комбата с лжекавказском лжекавалеристе.

Мирхайдар молча направился к штабной палатке.

Я пошел было своей дорогой, но что-то удержало меня, заставило обернуться. В пяти-шести шагах я услышал, как Мирхайдар проворковал: «Можно, товарищ младший лейтенант?»

— Пожалуйста! — донесся из палатки глуховато-мягкий голос.

Мирхайдар взглянул на меня, подмигнул еще раз и юркнул внутрь.

«Возьмет или нет? Неужто возьмет?»

Я ждал, я был почти уверен, что вот сейчас Оля с позором выгонит вон Мирхайдара, а за ним вслед вышвырнет ногаевские подарки. Но шли долгие минуты, а ничего подобного не происходило. Наконец из палатки показался улыбающийся до ушей Мирхайдар. Вещмешка у него не было. Я резко повернулся и зашагал к полевой кухне.

Мирхайдар нагнал меня у самой кухни, черти резвились в его глубоко посаженных глазах-бусинках.

— Ну, что я говорил?

Я грубо сказал:

— Давай, говорю, проваливай отсюда!

— Петушок, — засмеялся Мирхайдар. — Все еще не набрался ума-разума? А пора бы!

— Тоже мне умник нашелся!

— А что ж, дурак? — Мирхайдар притворно вздохнул. — Вот и работенку нашел себе — трудную, конечно, но не без удовольствия... Послушай-ка, поэт, — он вдруг обнял меня за плечи прямо-таки дружески. — Хочешь, я поговорю с хозяином? И для тебя найдется что делать на ПФС...

— Вот уж спасибо тебе, благодетель...

— Ты-то и есть дурак! — беззлобно, точно ребенку, сказал Мирхайдар. — Пока не поздно, подумай, браток. Поход скоро. Ой-ой-ой! До самой Маньчжурии пешком топать!

Я еле отвязался от землячка.

Что же это такое? Младший лейтенант, такая чудесная девушка, приняла подарок от этого «кавказца», над которым сама же смеялась? Зачем? А комбат как же? Или все они такие, женщины? Или Оля такая?

Когда с котелком каши в руках я зашел в палатку, нежный запах духов ударил мне в нос.

Младший лейтенант прибирала постель. Одета Оля была, как и обычно, в гимнастерку, в грубоватую, словно железную, юбку, но на голове... Голову ее украшала шелковая цветастая, пестро-розовая косынка! А на складном стуле в середине палатки — куча шоколадных конфет! Настоящих шоколадных конфет, которых я не видел уже сто лет!

Оля обернулась, выпрямилась и поправила шелковую косынку. Счастливо улыбнулась:

— Ну как, идет?

Конечно, идет, лопни мои глаза! Оля вся расцвела, голубые глаза, казалось, еще больше заголубели, а рыжеватые пряди стали совсем золотистыми! Но этот мерзавец, наглец, кавалерист — да как он посмел сделать свой подарок?! Я молчал.

— Что с тобой, Мансур? — удивилась Оля. — Не нравится? А ну-ка, садись, будем пить чай с конфетами! Чистый шоколад!

— Рахмат, товарищ младший лейтенант! Вот — каша. Разрешите идти?

Оля озадаченно замолчала. Потом сказала: «Ребенок ты, ребенок...» — и надвинула мне на лоб пилотку. Забыв, что передо мной офицер, я резко отстранился.

И в это мгновение послышался нарочито веселый голос:

— К вам можно, Оля?

5

Перед нами возник Артем Ногаев, «сын кавказских гор», капитан интендантской службы в форме кавалерийского офицера.

— Здравствуйте, Оленька... Можно?

Оля исподлобья взглянула на меня и почему-то покраснела:

— Здравия желаю, товарищ капитан...

Капитанская фуражка, лихо надвинутая на правую бровь, по причине восторга своего хозяина переместилась к нему на затылок.

— О-о, вы расцвели, как наш кавказский тюльпан, Оленька!..

Оля что-то пробормотала смущенно и торопливо взялась за котелок с кашей. Капитан перехватил ее руку.

— Прошу вас, Оленька, не ешьте вы эту... лошадиную еду!

— А что же нам есть, товарищи интенданты? — При слове «интенданты» Оля опять исподлобья посмотрела на меня. — Это ведь вы нас кормите лошадиной едой.

Ногаев развеселился еще больше.

— Отныне я буду подавать вам блюда лично, и чего душа ваша пожелает. Сегодня, например, мы угостим вас кавказским шашлыком.

— Неужели? Настоящим кавказским?

— Самым что ни на есть натуральным! С перцем и лучком... Не откажите, Оленька, специально для вас приготовили эту райскую еду. Посидим немножко, поговорим. Потом на танцы сходим.

Оля, тоже повеселев, обратилась ко мне:

— Мансур, может, пойдём попробуем кавказский шашлык?

— Солдату мы пришлем, — быстро и испуганно сказал Ногаев. — Кебаб делает его земляк. Он и принесет... Ну, так собирайтесь, Оля!

— Ну, что с вами сделаешь. Соблазн слишком большой! — усмехнулась Оля. Стянув косынку, она стала сооружать из длинной косы узел на затылке.— Вы подождите меня там, пожалуйста. Я сейчас выйду.

— Есть, товарищ младший лейтенант! — Ногаев с шутливой покорностью отдал честь и, звеня шпорами, вышел из палатки. Поправив волосы, Оля подошла ко мне.

— Ты почему так смотришь, Мансур, бука ты этакий?

— Как я смотрю? Что значит «бука»?

— Ну, хмуро. Злишься на что-то. Что мне делать с капитаном, видишь, пристал, как репей!

Я хотел сказать: «Да пошлите вы этот репей к черту», но не решился и буркнул:

— Да мне-то что? Идите, раз вам хочется идти.

— Ребенок ты.— Оля ласково растрепала мои волосы и ушла.

Не сняв сапог, я завалился на циновку.

Правду говоря, я не знаю, было мое чувство тогда настоящей ревностью или наивным гневом молодой души, принимающей за оскорбление все то, что не похоже на ее идеальные воздушные замки. Мне, восемнадцатилетнему парнишке, тайно сочинявшему стишки о любви, хрустально чистой и высокой, как небо (Лейли и Меджнун, разумеется, упоминались чуть ли не в каждой строчке), мне показалось кощунственным, что Оля, красавица Оля, только вчера хохотавшая над «кавалеристом интендантской службы», пошла есть с ним шашлык и танцевать.

Я лежал ничком и мучительно переживал женское коварство, когда раздался голос Арслана:

— А ну, поднимайся, поэт, земляков встречай!

— Кого еще?

— Ишь ты, не успел стать писарьком, а уже и земляков забыл,— сказал Арслан.— Давай собирайся. Джигиты заждались.

Земляки ждали нас внизу, в ложине, у мутной мелководной речушки. Казах Серкабай тоже, можно сказать, земляк. Сын колхозного чабана, он жил совсем неподалеку от нашего кишлака, в самых горах. Ну, а второй, смирный и тихий Шоюсуф, женившийся перед самым уходом в армию и потому служивший предметом постоянных острот Арслана, был настоящий карасуец.

На душе у меня сразу полегчало. Расстелив шинели на желтой, но еще густой прибрежной траве, мы разместились поудобнее, и пошел разговор о том о сем. Тут, откуда ни возьми, явился Мирхайдар.

— Ассалом-алейкум, землячки!

Лицо «верблюда» сияло загадочной улыбкой. Бросив на землю тугой вещмешок и чертовски многозначительно подмигнув мне, Мирхайдар пробасил:

— А ну, навались! Пользуйтесь моей добротой.

Шашлыка, конечно, не было и в помине, но зато консервов, булок, конфет хватало. Арслан, открывая перочинным ножом консервы, завел обычную свою аскию:

— Ну, как живет на складе, о могучий нар? Насытились ли там глаза твои, или по-прежнему приходится подбирать крохи со стола?

Мирхайдар потер масистый нос и ответил:

— По-моему, и тебе перепадает от того, чем глаза мои насытились. Или не так, непобедимый лев Арслан?

— Не спорю: неплохо, что ты попал в ПФС. Останься в роте, опозорил бы нас, воруя картошку из котла.

Все невольно рассмеялись, вспомнив происшествие с картошкой.

Запасной полк, куда мы попали из кишлака, стоял в густом лесу, поблизости не было ни одной деревни. Жили мы в землянке. Вдоль стены был поставлен сколоченный из досок, длинной во все помещение, «стол». Большинство ребят довольствовалось пайком, но некоторые с первого же дня стали выказывать странные привычки. Среди них был и Мирхайдар. В течение двух-трех дней он продавал весь паек хлеба солдатам, а затем, на собранные деньги, покупал сразу целую буханку и уплетал ее в один присест. А потом снова, глотая слюну, тарасился два дня на чужие обеды и ужины. Мирхайдар сдружился с тремя-четырьмя такими же оригиналами. Вечерами, когда солдаты в свободные часы читают или пишут письма домой, эти собирались на «кухне» и без конца говорили про еду, затевали меняловку. Кусок сахара — на горсть махорки, махорку — на пайку хлеба, ну и так далее. Солдаты смеялись: «Вон Алайский базар¹ пошел шуметь.»

Как-то вечером группа солдат — среди них были я и Мирхайдар — отправились за едой в полковую столовую. Было холодно так, что, по пословице, птица замерзала на лету. Еле-еле притащили, то и дело скользя и спотыкаясь в темноте, пятнадцатые ведер борща, два ведра каши и два мешка хлеба. На всю роту. Старшина имел обыкновение, приняв ведра, помещать в них ковшом, проверить, так сказать, содержимое. То же самое проделал он и в тот раз. Во всех ведрах все было в норме, кроме двух, где не оказалось ни мяса, ни картошки! Я был старшим среди тех, кто ходил за ужином, поэтому и недоумение старшины надо было рассеять мне. А как его рассеять?

Смущенно пожав плечами, я заявил:

— Повар ошибся...

— Повар? А ну, глянь-ка туда!

В углу землянки, позади всех, стоял, ссутулившись, Мирхайдар, а из кармана его шинели валил пар, будто из котла.

— Солдат Нарбутаев, шаг вперед! — приказал старшина.

¹ Алайский базар — один из старинных базаров Ташкента.

Мирхайдар, словно кошка, ждущая побоев, вобрал голову в плечи и шагнул вперед. И тут уже все солдаты увидели пар, струившийся по его бокам. Поднялся дикий хохот!

— Выворачивай карманы!

Что делать? Бедняжка Мирхайдар начал медленно выкладывать из кармана на стол картофелины и куски мяса. Порядочная горка получилась. Каждый раз, когда на свет божий появлялся новый кусок, раздавался новый взрыв хохота. Под эту канонаду, я думаю, даже этот толстокожий верблюд захотел провалиться сквозь землю...

Арслан, напомнив про этот случай, решил продолжить свое остротное слово, но Серкабай сказал недовольно:

— Оставь, Арслан, хватит. Мы пришли сюда не ради твоих острот. Соскучились друг по другу, душу хочется отвести, а ты...

Арслан, осведомленный о душе каждого из нас, сразу переменял направление атаки.

— Вай, ты прав, Серкабай! Как там твоя душа Чипаргул поживает? Не променяла еще тебя на какого-нибудь другого бая — Йилкибая, Туябая? ¹ А?

Серкабай был не из тех, кто за словом лезет в карман:

— Ничего, сбежит Чипаргул, возьмем Паршагул, сбежит Паршагул, возьмем Сапаргул...

Он растянулся на шинели, подложил руки под голову и, глубоко вздохнув, произнес:

— Эх, ребята! Что-то сейчас происходит в Туяташе? Наверное, девушки и джигиты аула гуляют на джайляу, песни поют, пляшут...

А и в самом деле, как забыть родные места? Вот он перед глазами моими — наш небольшой горный кишлак, утонувший в садах, узенькие улочки спрятались под тузовыми деревьями, вот старая мечеть с гнездами горлинок под куполом, а там джайляу Туяташ, откуда, я знаю, снежные вершины кажутся близкими, рукой достать, а на джайляу юрты точно опрокинутые пиалы, а вокруг юрт смуглые черноглазые девушки бегают, звенят украшениями. Милый край!..

Глубокая тишина, опустившаяся на степь, усилила вдруг нахлынувшую тоску: далек родной край, ох, как далек!..

Тишину нарушил наконец Серкабай.

— Если живым-здоровым вернусь в аул,— проговорил он мечтательно,— сделаю той. Козлодранье в степи устроим, эх, и скакать же будем! Покажу я тогда своей Чипаргул, что за джигит Серкабай!

Арслан (вот привычка) толкнул его в бок, засмеялся:

— У тебя-то свадьба впереди. А вот Шоюсуфу трудноато будет отчитываться перед женой... Кстати, есть письмо от нее, браток? Или, может быть, ей там другой парень приглянулся, побойчее, а?

¹ *Йилкибай, Туябай.*— Здесь герой обыгрывает баев, имеющих несметные стада: йилки — лошадь, туя — верблюд.

— Оставь ты свои насмешки, ну что за язык у тебя! — сказал Шоюсуф так жалобно, что опять наступила, теперь уже неловкая, тишина.

Примерно двадцать парней было призвано в армию из нашего кишлака. Все холостяки, один женатый — Шоюсуф. Наивный простака, он еще по пути в запасный полк подробно рассказал нам про свою первую брачную ночь. Успехов он тогда не достиг, и по этому поводу подтрунивали над ним. Шоюсуф страдал от насмешек и намеков, а когда задерживались письма от жены, вообще ходил будто прибитый. И теперь, видно, письма запаздывали; когда Арслан попытался продолжить свои шутки, Шоюсуф вскочил на ноги и с дрожью в голосе воскликнул:

— Когда ты оставишь меня в покое? Послушать тебя, так в этом мире нет ни одной верной женщины!

— О-о, верность, верность! — произнес Арслан. — Ты еще не успел выехать из кишлака, а твоя жена пошла секретарем к раису! А ты, растяпа, согласился, не подумав...

— Недаром женщин называют шайтанами в юбках! — захотел Мирхайдар своим верблюжьим басом.

Я почему-то вспомнил Олю и разозлился. Не получилось, видно, «отвести душу» друг перед другом. А коли так — надо разойтись.

— Да, пора, — сказал Мирхайдар. — Завтра-послезавтра в поход, я-то в курсе дела. Надо готовиться.

Мы опять обнялись, а Мирхайдар взял меня под локоть:

— Может, пойдем ко мне? Я там настоящий шашлык сделал... — сказал он и ехидно добавил: — Между прочим, младшему лейтенанту очень наш шашлык понравился.

— Иди ты знаешь куда со своим шашлыком! — Круто повернулся и побегал, чтобы не слышать его смешков.

В моей штабной палатке никого не было. Оля еще не вернулась. Опять нахлынула на меня обида, и я залег за сундучок с намерением выбросить все это из головы и заснуть. Долго ворочался, слушал звуки далекого баяна, посвист солдат, затеявших пляску где-то внизу. Потом все-таки задремал и, как показалось, тут же проснулся. Глухой, нервный голос капитана Газиева требовал:

— А ну, попроси извинения! Слышишь?..

— Странный ты какой-то, Газиев... — Это был капитан Ногаев. Он, видно, пытался отшутиться.

— Извинись, говорю.

Я приподнял повыше край палатки. Лицом к лицу стояли Даврон-ака и Ногаев. Несколько поодаль от них я увидел Олю. Ногаев, с видом человека, сильно и несправедливо оскорбленного, стоял, выпятив грудь и уставившись куда-то в небо; комбат пригнул голову, весь съежился, напрягся, будто готовился к прыжку. Оля закрыла лицо ладонями. Плакала, наверно.

— Послушай, Ногаев! — отрывисто бросил комбат. — Последний раз говорю: или сейчас же извинись, или я...

— Хорошо! — Ногаев гордо поднял голову.— Простите, товарищ младший лейтенант! Я не знал. Простите! — Он слегка поклонился Оле и, резко повернувшись, пошел от палатки, протестующе-громко звеня шпорами.

Даврон-ака подошел к Оле и осторожно обнял ее за плечи. Я опустил край палатки, откинулся на циновку.

— Оля, дорогая моя,— услышал я глухой голос комбата,— не стоит тебе плакать из-за этого мерзавца...

— Ты был послушал его,— проговорила Оля.— Будто ты... будто я твоя...— Оля не смогла продолжать, я услышал, как она всхлипнула...

— Оля, оставь ты это. Ты такая, такая, что... никакая грязь не пристанет к тебе, если даже клеем приклеивать... Не надо, не плачь. Ну, дай я сотру слезы. Пойдем пройдемся по степи. Посмотри на звезды. Правда, похожи на белые яблоки?.. Я где-то читал...

6

Утром я принес завтрак, а следом за мной в палатку вошел старшина Сало. Он прятал правую руку за спину и улыбался в пышные — подковой, как у Тараса Бульбы,— усы.

— Придется вам раскошелиться, товарищ капитан.

— Письмо! От кого? — Даврон-ака почему-то вдруг побледнел.

— Нет, нет, сперва склянку-банку на стол, потом письмо получите.

Старшина хотел отступить за дверь палатки, но капитан проворно обнял его и выхватил письмо.

— Поллитровку на стол, а я сейчас закусточку...

Но с закусточкой, видно, старшина поторопился. Как только Газиев взглянул на треугольник, чувство радости мгновенно слиняло на его лице. Насупив брови, он отошел от нас в угол. Старшина смущенно крякнул, потоптался секунду-другую и вышел из палатки. Я тоже почувствовал себя неловко: то ли мне тоже уйти, то ли приняться за еду, то ли спросить Даврона-ака, откуда письмо. Я посмотрел на комбата. Он стоял, уставившись в одну точку. В прищуренных глазах, в сжатых, словно бескровных, губах была и печаль и даже беспощадность.

— Слушай, Мансурбек,— сказал он, так и не оборачиваясь ко мне,— сколько месяцев прошло, как ты выехал из кишлака?

— Почти год... Осенью прошлого года...

— Осенью прошлого года... Тогда, может быть, ты успел увидеть Саломатхон?

Я встрепенулся.

— Конечно, Даврон-ака. Видел ее. Она преподавала в школе... А когда мы уезжали, провожала брата.

— Хош! Хош!

Я вдруг почему-то вспомнил события прошедшей ночи, его стычку с капитаном Ногаевым, ласково-успокаивающий разговор с Олей... «Кто же этот человек? Тот самый джигит, с которым бежала Саломатхон? Ее муж? Если да, то почему же он с Олей?..»

— Товарищ капитан,— вымолвил я, пытаюсь совладать с волнением.— Я давно хотел спросить вас... Перед войной, когда Саломатхон-апа училась в Ташкенте, один джигит из Ферганы...

— Подожди! — капитан нетерпеливо перебил меня.— Ты сказал, что Саломат работала в школе... Когда она приехала? Как ей жилось в Карасуве? Плохо, хорошо?

Я, заикаясь, рассказал ему все, что знал о Саломатхон, вплоть до того, как она проводила нас на вокзал. Рассказывая, я невольно вспомнил ее беззвучный плач там, на перроне. Сказать об этом? Или не надо?

Капитан стоял, опустив голову, молчал, думал о чем-то своем. Мне показалось, что мои возвышенные слова не очень-то понравились ему, и тут меня будто осенило: «Ну да, он муж Саломатхон, но...»

— Товарищ гвардии капитан!

— Ну? — по-прежнему не глядя на меня, произнес капитан.

— Вы не ответили на мой вопрос: вы тот самый джигит, с которым она... сбежала перед войной, или...

— Не «или». Тот самый.

— А если тот самый, почему же тогда...— я с трудом перевел дыхание.— То почему же тут с Олей...

— Ну?

— ...вы целуетесь-милуетсяь? — с трудом договорил я.

Каждый раз потом, вспоминая эту минуту, я краснел и злился от стыда и боли. Но тогда... тогда я был всего лишь восемнадцатилетний парень, сочинявший стишки и начитавшийся дастанов о возвышенной любви Меджнуна к Лейли.

— Что?! — Комбат вскинул голову. Он был бледен.— Повтори, что ты сказал?

Я мгновенно раскаялся — чушь сказал, чушь какую-то,— но отступать было поздно. И некуда!

— Думаете, я ничего не вижу, да? Или вы считаете меня за простофилю-кишлачника, которому на все наплевать? У меня тоже есть глаза...

— Довольно! — Голос Даврона-ака прозвучал так гневно и жестко, что я оборвал свое бормотание.

— Ты... откуда у тебя эти гадкие подозрения? Эти грязные мысли, подслушивания, подглядывания? — Капитан хотел сказать еще что-то, но тут послышались легкие шаги, и в палатку вошла Оля.

— Что такое? Что-нибудь случилось?

— А ну, собирай свои манатки!

Оля растерянно смотрела то на капитана, то на меня.

— Зачем ты... Зачем вы его гоните, товарищ капитан? Что произошло, Мансур?

Я торопливо начал собираться.

— Не возись, живее! — крикнул комбат. — Все собрал? Марш отсюда! И старайся не попадаться больше мне на глаза!

Я пулей выскочил из палатки.

7

...Полковник Белобородов оказался прав. Это был действительно невиданно тяжкий поход, которому, казалось, нет конца.

Перед нами лежала необозримая пустынная степь; безостановочно сменяли друг друга пологие холмы — сначала такие же зеленовато-желтые, как на нашей стоянке, а чем дальше мы шли, тем все больше пепельно-черные. Зелень вся уж давно выгорела, превратилась в темный прах. Изредка встречались лощины, на дне которых еще желтели, даже этой желтизной радуя глаз, стебли высокой травы. Там, у берегов мелких речушек, попадались стада и юрты. Они напоминали мне о наших горных джайляу, и тоска по дому опять охватывала душу... А потом — снова коричневое беспредельное пространство, голое и пустое, если не считать стервятников, застывших в безоблачном небе, да порой сусликов и ящериц, стремглав исчезающих из виду.

Пехотные колонны сверху, видно, напоминают собой муравьев; справа и слева от нас тянутся тягачи с тяжелыми, зачехленными брезентом пушками; сотрясая землю, проходят — точно по ниточке, в затылок друг другу — танки. Полуголые, распаренные танкисты торчат в люках боевых машин, весело глядят на нас, машут руками, галдят:

— Эй, царица полей! Не отставай! Выше голову! Шире шаг!

Мы завидуем этим жизнерадостным, здоровым парням, которым не надо трудить ног: вот она была тут, танковая колонна, а не успеешь моргнуть — уже и скрылась за горизонтом. Но порой, особенно в полдневной зной, приходит очередь торжествовать и пешеходной царице. В этой раскаленной степи железо не выдерживает испытания. Моторы скрежещут и задыхаются, из радиаторов машин фонтаном бьет мутный горячий пар, и тягачи, студебеккеры и даже танки застревают на холмистых склонах. Живая сила надежнее, черт возьми! Правда, не всякая. Огромные, как слоны, немецкие трофейные лошади — у каждой копыто величиной с узбекский тандыр — валяются в изнеможении на обочинах дорог, беспомощно скалятся, задыхаются, будто рыба, выброшенная на сушу... Только матушка пехота — издавна привычная и к зною, и к холоду, и к дорогам, и к без-

дорожью — мерно продвигается вперед, и никакая степь не может остановить наши колонны...

Мерно, неостановимо движется армия, только вот фляжка с водой, которой мы запасаемся на рассвете, слишком уж быстро нагревается, и каплю теплой солоноватой воды приходится ценить на вес золота. Горе тому бойцу, который сделает глоток не в крайнем случае, не тогда лишь, как совсем пересохнет в горле: командиры зададут взбучку! Правда, старшина Сало, назначенный нам в командиры взвода, помягче других, такой мягкий, что молодых солдат называет «сынками», а сверстников-фронтовиков величает по имени и отчеству, но вволю пить на марше не разрешает ни тем, ни другим.

Вернувшись в родную роту после стычки с капитаном, я вновь стал хозяином ручного пулемета, а два заряженных диска, вместе со своим карабином, опять несет на себе Вася Колбаскин. Волосы, брови, глаза и даже ресницы у него совсем выцвели на солнце, а лицо — и впрямь как вареная колбаса. Да и облупившийся длинный нос Васи так похож на колбасу, что то и дело слышишь:

— Эх, братцы, сейчас килограмм колбасы навернуть бы с хлебцем!

— Вась, а Вась! Колбаса-то твоя совсем закоптилась! Давай кусочек отрежем!

Вася тоже острит:

— Подбери слюнки! На чужой не зарься, свой вырасти, а моя колбаска самому пригодится!

За веселый нрав все в роте любят Васю. Даже комбат иногда во время привала подхватывает шутку:

— Ну как, не весь жирок солнце растопило, Колбаскин?

Васе нравится комбат. Моргая белесыми ресницами, он отвечает:

— Спросите лучше у старшины, товарищ гвардии капитан. На таком солнце салу труднее, чем колбасе.

Все хохочут.

Иногда капитан шутит и с Арсланом, но со мной не заговаривает, делает вид, что не замечает меня.

Мне обидно. Я невольно краснею, вспомнив наш разговор. И чтобы забыть жгучий стыд, вновь и вновь вспоминаю Саломатхон. И тогда стыд переходит в злость...

Когда степь погружается во тьму и на небе зажигаются первые звезды, мы останавливаемся на склоне какого-нибудь холма. Часто не в силах даже заставить себя поесть, мы расстилаем плащ-палатки и падаем, как подкошенные. Головой на вещмешок — и, не ощущая ни холода ночи, ни каменной твердости земли, тут же засыпаем. Спишь, кажется, всего мгновение. На раннем рассвете, когда еще мерцают звезды, — «подъем!».

И вновь медленно тянется мимо нас степь, которой нет ни конца, ни края.

Сейчас уж не помню, когда точно, кажется, на восьмой или девятый день похода, нас настигла беда, страшнее которой не может быть ничего в пустынной степи: достигнув отмеченных на карте колодцев, мы увидели, что они высохли!

Солнце стояло в зените. Пламя лилось на нас сверху. Ни пятачка тени. После марша километров в сорок донельзя усталые роты повалились на горячую землю, около бесполезных теперь колодцев. На растрескавшихся губах одно слово: «Вода!» На жирную мясную кашу никто смотреть не может. В воспаленных глазах, на почерневших лицах — крик: «Воды! Воды!»

Через полчаса после начала привала — приказ:

— Всю посуду в ротах: бидоны для еды, фляги, котелки — вручить старшинам!

Между тем к подножию нашего холма подъехали два бензовоза.

— Вода прибыла! Вода!

Оба бензовоза в мгновение ока окружены солдатами: откуда силы взялись! Никто не слушал распределявших воду. Вдруг высокий красивый сержант-грузин из третьей роты — неизвестно по какому поводу — начал перепалку с нашим тихим «крестьянином» Сало. К ним присоединились солдаты обеих рот. Кто-то кого-то толкнул, кто-то кого-то ударил, кто-то сшиб с ног сержанта-грузина, я тоже с кем-то схлестнулся, но в это время подбежал наш комроты Харитонов. Выхватив пистолет, он одним прыжком вскочил на бензовоз.

— Прекратить гвалт! Солдаты — по местам!.. Каждому взводу подходить по очереди.

Шум быстро прекратился, все выстроились. Нашей первой роте на девяносто человек дали двадцать котелков. Вода была мутной, пахла бензином и почему-то тиной. Запрокинув голову, я глотал мелкими, осторожными глотками эту мутную воду, когда услышал, как рядом остановились два студебеккера и раздался басовитый окрик по-узбекски:

— Эй, поэт, как поживаешь?

В кузове первого студебеккера на каких-то мешках восседал предовольный собой Мирхайдар.

Опершись руками о борт, он спрыгнул на землю. На нем была уже другая, но тоже новая гимнастерка, а вместо пилотки — офицерская фуражка. «Верблюды» вроде как потолстели, посолоднели. Если б не обильный пот на лице, можно было бы подумать, что он не в походе, а так себе — разезжает, развлекается.

— Эге, браток, вон ведь как тебя скрутило... Говорил же, что намучаешься! Заупрямился, что ишак, и вот, пожалуйста...

Он с сочувствием оглядел меня с головы до ног и поморщился. И сам я невольно поморщился, увидев, будто впервые,

свои несуразно большие ботинки, брюки, ставшие белыми и желтыми от пыли, пота и соли. Поморщился, покраснел и ответил грубо:

— Пошел ты к...! От моего упрямства мне и терпеть, тебе то что!

Мирхайдар, пропустив мимо ушей ругательство, спросил, улыбаясь:

— Пить хочешь? — и с этими словами начал было отстегивать флягу от ремня. Но тут послышался знакомый глуховатый голос:

— Что в этих машинах?

Около первого студебеккера вместе с начальником штаба батальона — пожилым старшим лейтенантом с проседью в волосах — стоял комбат.

Мирхайдар вытянулся струной.

— В машинах макаронны и мука, товарищ гвардии капитан.

— Сгрузить мешки! — приказал комбат.

Мирхайдар какое-то мгновение постоял, разинув рот, затем с отчаянием в голосе закричал:

— Товарищ гвардии капитан! Ведь я... без приказа своего хозяина... гвардии капитана Ногаева...

Газиев нетерпеливо махнул рукой:

— Машины поедут сейчас за водой, понял? И не шуми! — сказал он жестко. Потом повернулся к подошедшему Харитонову, кивнул на машины: — Начинай!

Повторять приказ не надо было. Солдаты, услышав от комбата слово «вода», с нескрываемой радостью ринулись к машинам. Растерявшийся Мирхайдар, бормоча себе что-то под нос, носился между капитаном и машинами.

— У меня есть хозяин! Я хозяину скажу! — крикнул он наконец и побежал вниз с холма к видневшейся поодаль от нас автоколонне.

Солдаты, тяжело дыша, торопливо сгружали тяжелые мешки и складывали их в штабеля.

— Товарищ комбат! Ногаев бежит! — крикнул в разгаре работы Харитонов, показывая рукой на лошину.

Капитан Ногаев и Мирхайдар мчались вместе, словно одной веревочкой связанные. Ногаев на бегу то насовывал свою фуражку поглубже, то поправлял портупекю, то одергивал полы гимнастерки, видно было, что готов сейчас полезть в драку.

Комбат стоял, чуть наклонив голову. Он всегда так стоял — неподвижно, сурово, — когда волновался, а хотел казаться спокойным. Эту позу я уже успел изучить у него; знал я — по прищурю глаз, по сжатым челюстям, — что он весь напрягся, готов к отпору. Ногаев, сменив бег на шаг, миновал громоздившиеся на земле мешки и остановился перед Газиевым. В горбоносом, и вправду похожем на кавказское, лице его не было ни кровинки, ноздри раздувались, глаза сузились.

Стало тихо.

— Товарищ Газиев! — Ногаев не прибавил слова «капитан». — Кто вам разрешил так поступать?

Комбат поднял взгляд, выпрямился. И тихо, видно не желая, чтоб другие слышали, сказал:

— Отойдем-ка в сторону, Ногаев!

— Нет, простите! — Голос Ногаева зазвенел громче, угрожающе. — В отличие от других, за мной нет грехов, чтобы о них шептаться в сторонке! Я повторяю вопрос: кто вам разрешил отдать приказ о разгрузке чужих машин?

— Обстановка разрешила, — сказал, растягивая слова, Газиев. — Поняли вы, обстановка! — повторил он. — Сейчас нужна вода! Больше всего на свете нужна.

— Если нужна, то дело командира — обеспечить ее. А вы самовольно разгружаете машины, которые не находятся в вашем распоряжении...

Тут Ногаев увидел Олю, которая шла к нашей группе, на миг будто поперхнулся, затем договорил:

— За этот поступок вы ответите, Газиев! Перед командиром полка и, может быть, не только перед ним!

— Ну, довольно! Не пугай! — грубо оборвал его комбат. — Я никогда не отказывался нести ответственность за свои поступки! Готов и за это отвечать.

— Ну что ж, хорошо. Нам есть о чем поговорить и кроме машин... Продолжим у Белобородова! — Ногаев круто повернулся и, спотыкаясь на ровных местах, побежал с холма. За ним покорно затрусил и Мирхайдар...

Комбат, пройдя мимо приумолкших солдат, взобрался на первую машину. Почерневшие солдаты, облизывая засохшие губы, придвинулись ближе.

— Ребята!.. — Капитан снял с головы фуражку, всей пятерней стер пот со лба. — Солдаты! В двадцати километрах отсюда, впереди нас, саперы роют колодец. Туда брошена техника. Через час-два вода будет! Но мы не можем, ожидая ее, длить свой привал, полеживать тут, безвольно глядя в небо! Мы пойдем вслед за машинами! — Комбат передохнул, оглядел приумолкших людей. — Эта обстановка ничем не уступает самой суровой боевой... И вообще, наш поход, каждый километр пройденного пути есть удар по Квантунской армии. Ясно? Поэтому от вас сейчас требуется такое же мужество и такое же терпение, как в бою, в жестоком бою. Я верю в вас...

Капитан взмахнул рукой — стряхнул с нее пот — и хриплым голосом скомандовал:

— Батальон! В маршевую колонну, по ротам стройся!

И снова та же дорога, все те же сменяющие друг друга пологие холмы, белесые разводы солончаков — беспредельная до самого горизонта коричнево-черная степь.

Шум и смех утреннего подъема давно выветрились из головы. Солдаты идут тяжелым, чугунным шагом, слегка покачиваясь, облизывая губы,— жажда доконает.

Еще один холм остался позади, а за ним еще один, а там вырастает третий... Стиснув зубы, собрав последние силы, я пытаюсь взобраться, но — не помню, влез я все-таки на него или не смог? Помню только, как Арслан вдруг подхватил из моих рук пулемет... Когда я открыл глаза, увидел, что лежу на склоне; мне на голову падает укороченная, величиной с тюбетейку, тень от солдатской плащ-палатки. А надо мной стоит младший лейтенант Куприянова и озабоченно глядит куда-то поверх меня.

Увидев, что я шелохнулся, Оля опускается на колени.

— Ну, как ты, Мансурчик? — Она с трудом усмеяется иссохшими губами.— Я-то, дуреха, думала, что вы, земляки комбата из Средней Азии-то, выносливей к жаре, чем мы, а вы, оказывается, слабей нас!

Усмешка Оли поднимает меня; опираясь руками о землю, я сажусь перед ней, вытянув ноги: это все, на что у меня хватает сил.

Солнце, хотя и начало скатываться к горизонту, все еще обжигает... По всей степи, вплоть до самых дальних холмов, раскинулись плащ-палатки. А из ближайших к нам я вижу высунившиеся ноги солдат; они, как и я, пострадали от солнечного удара.

— Ложись в тень и лежи, не двигаясь,— говорит Оля.— Раз уж свалился, нечего стесняться. А я пойду посмотрю, как у других дела...

Тут до моего слуха доносится что-то вроде отдаленного гула, какое-то тарыхтение. Мы с Олей одновременно оборачиваемся в сторону странного звука. Вдали ползет, приближаясь к нам, что-то похожее на жучка. Нет, это не грузовая машина. Жучок движется быстрее, хотя то и дело останавливается у палаток по обочинам дороги...

— Полковник Белобородов! — Оля торопливо поправляет пилотку, потом расправляет складки гимнастерки на груди.

«Опозорился на весь мир!» — думаю я про себя и закрываю глаза. Через некоторое время амфибия останавливается совсем близко. Глухой, усталый голос спрашивает:

— Сколько человек из батальона пострадало?

— Двадцать, товарищ полковник. Большинство молодые солдаты...

Осторожно приоткрываю глаза. Полковник Белобородов — с Золотой Звездой на вылинявшей, пыльной гимнастерке, седой и осунувшийся — кажется мне сейчас еще более старым, чем в тот день, на учебных занятиях. Глаза впали, лицо почернело от солнца, щеки отвисли. Я снова с усилием поднимаюсь и сажусь, подпирая себя руками.

Полковник подходит ко мне, молча опускается на корточки.

— Что случилось-то, солдат?

Слово «солдат» он произнес мягко, ну, как старшина Сало слово «сын» и может, из-за этой мягкости пожилого человека мне становится стыдно своей слабости.

— Сам не знаю, товарищ полковник...

Полковник отстегивает свою фляжку, протягивает мне.

— На-ка, попей, солдат!

Вода теплая, но тиной не пахнет, не то что бензовозная. Сладкая вода — по телу живительный бальзам будто разливается. С трудом оторвав флягу ото рта, я молча смотрю на полковника.

— Ну, как? — чуть улыбается он.

— Спасибо, товарищ полковник! — Хоть ноги и дрожат, я медленно поднимаюсь.

— Сможешь идти?

— Постараюсь, товарищ полковник!

— Вот это другое дело! — Белобородов с шутовым укором качает седой головой. — Ты посмотри-ка на младшего лейтенанта. Девушка, а эдакое пекло выдерживает, а ты вот растянулся.

Оля, покраснев, играла пуговицей гимнастерки.

— Садитесь на машину, Оленька, — сказал полковник. — Посмотрим батальон. А где Газиев?

— За водой поехал, товарищ полковник.

— Слышал, солдат? Ну, иди потихоньку, иди...

Амфибия трогается с места и катит вниз-вверх по бездорожью, с треском ломая кусты колючки и явшана.

Я тащусь туда, где на гребне невысоких обугленных холмов виднеются разбросанные плащ-палатки. Прямо на меня катит грузовик. Только бы не капитан Газиев!

Я ни за что не хотел сейчас встречи с капитаном. Не хотел, чтобы он застал меня в таком жалком состоянии. Я торопливо поворачиваю налево и шмыгаю в какую-то яму, похожую на воронку от авиабомбы. Но машина тоже сворачивает налево и останавливается. Кто-то выпрыгивает из нее. Я вылезая из укрытия. Ну, конечно, это — комбат! Ворот гимнастерки расстегнут, грудь открыта, на черном худом лице крупные капли пота, в больших серых глазах — удивление.

— Ты что это прячешься, как суслик в норе?

— Да так... лежу!

— Нашел место, нечего сказать! — произнес капитан с издевкой. — А где пулемет?

— Пулемет... У Арслана, товарищ капи...

— Как это у Арслана? — перебил комбат. — Кто тебе дал право отдать свой пулемет другому бойцу?.. — Он не договорил: где-то рядом надрывно взревел мотор, и из-за ближайшего холма выехал студебеккер. В кузове его стоял, привалившись к кабине, Ногаев!

Заскрипев тормозами, студебеккер остановился напротив машины комбата. Ногаев лихо перескочил через борт и распахнул дверцу кабины. Оттуда вышел молодой густобровый, подтяну-

тый, хоть и полноватый для своего высокого роста, подполковник в узких интендантских погонах.

Ногаев, странно шевеля красивыми черными усиками, быстро заговорил:

— Пожалуйста, товарищ подполковник, вот он — герой!

Подполковник молча оглядел комбата. Газиев торопливо застегнул ворот гимнастерки, поправил фуражку и, чеканя шаг, подошел к подполковнику.

— Товарищ подполковник! Командир третьего батальона...

Подполковник нетерпеливо дернул плечом:

— Я знаю, что вы комбат! Вы лучше ответьте: кто вам разрешил отнять тыловые машины?

— Товарищ подполковник...

— Отвечайте!

— Обстоятельства, товарищ подполковник. Сами видите, положение тяжелое. Вода...

— Положение тяжелое, значит, можно самовольничать, вышвыривать грузы?

— Товарищ подполковник! — Голос комбата взволнованно зазвенел. — Поступая так, я думал не о себе, а о солдатах. Посмотрите...

— Вы слышите, товарищ подполковник? — Ногаев развел руками, нервно засмеялся. — Он, выходит, болеет за советского солдата, а нам с вами на него наплевать.

Комбат бросил гневный взгляд на Ногаева и, побледнев, сказал:

— Если бы ты думал о солдате, то не стал бы поднимать весь этот шум. Подвезем воду и тут же отдадим тебе машины. Сами поможем...

— Поднимать шум! Формулировочка! — перебил Ногаев. — Я обязан думать о том, что поручено именно мне!

— Да, но ты же советский офицер. Ты же видишь, что происходит в этой пустыне... — Комбат не договорил. Вмешался подполковник:

— Вот что, комбат! Не я придумал поход через пустыню Гоби! Он осуществляется на основе стратегического плана командования...

— Да! Но план этот осуществит опять тот же солдат. Должны же мы ценить его, заботиться о нем. Большинство из них прошло всю войну! Им столько выпало на долю, что...

— Вот! Вы слышите, товарищ подполковник? — саркастически и как-то обрадованно воскликнул Ногаев. — Ему, видите ли, не нравятся стратегический план нашего командования. Солдату, видите ли, тяжело. Может, вы вообще против этой войны, товарищ Газиев?

Комбат всем корпусом обернулся к нему, сжал кулаки, но подполковник опять не дал ему возможности ответить.

— Хватит! Разговоры отставить! — приказал он и взглянул исподлобья на солдат — видно, почувствовал, как нетактично

препирательство командиров на глазах у подчиненных им людей.

— Капитаев Газиев! Следуйте за мной.

Офицеры отошли в сторонку. Разговора теперь не разобрать; доносились к нам только приглушенные, охрипшие голоса.

Издали наблюдая за комбатом, я впервые подумал о том, что ему тоже нелегко. А ведь до тех пор он казался мне рожденным под счастливой звездой.

Комбат вернулся через четверть часа. Он, казалось, почернел еще более. Проходя мимо меня, бросил коротко:

— Взбирайся на машину! И чтоб немедленно после прибытия в роту найти пулемет. А вечером вместе с Арсланом и со старшиной Сало — ко мне. Ясно?

— Ясно, товарищ гвардии капитан!

10

Прошло уже несколько дней, как Газиев отдал мне суровый приказ, а ни Арслана, ни пулемета я не нашел. Из-за меня попало и старшине Сало, и командиру отделения — вечно сердитому сержанту, который и без того невзлюбил меня, называя писарьком. Попало даже красно-белому Васе — моему второму номеру. Комбат еще раз приказал хоть из-под земли достать Арслана и пригрозил — если он и пулемет не найдутся — военным трибуналом. Пока же я не вылезал из внеочередных нарядов.

Мы стояли на берегу какого-то соленого озера. В солдатских разговорах и настроениях чувствовалась близость чего-то большого и грозного. Однажды в полночь (я только-только вернулся с кухни, где колол дрова), лег и начал было засыпать, прозвучала тревога. Вся темная степь пришла в движение.

— Первая рота, стройся!

— Третий взвод, стройся!

У озера, около шеренги студебеккеров, нас встретили комбат и незнакомый офицер. Они показали нам выделенную для взвода машину. Боясь попасть на глаза комбату, я первым взобрался в кузов машины и юркнул в уголок. Вскоре прозвучала команда «трогай!». Мы двинулись молча, настороженно. Это — все понимали — был последний походный бросок перед боями.

На горизонте висела зеленоватая ущербная луна. Под ее холодным сиянием вся степь, — плоские коричневые холмы, блестящее зеркалом озеро, машины и танки, — приобрела таинственный, сурово-величественный вид. Солдаты хранили глубокое молчание. Только один Вася, не находя себе места, суетился и шептал мне в ухо:

— Смотри-ка, смотри, танков-то сколько, а? Силища! Расшибут самураев, а? Без нас, как ты думаешь? Подвигайся поближе, соснем, может, а?

Куда там соснуть? Под надрывный рев моторов я все думал и думал о том, что стало с Арсланом. Неужели я лишился друга? А что будет со мной, если он не объявится и не найдется пулемет?

Рассвело. Таинственность ночной степи исчезла. Мы были среди барханов. словно застывшие зеленоватые волны громогдились друг за другом высокие барханы, катясь все дальше к горизонту, и сливались там с небом.

Остановка! Идущие впереди машины — тяжелые тягачи и легкие вездеходы — застряли в этих сыпучих волнах. Солдаты с лопатами в руках уже принялись корчевать кусты тальника, рубить ветви невысоких колючих деревьев.

— Взять лопаты! — Старший лейтенант Харитонов выпрыгнул из кузова.

Солдаты нашей роты, работая топорами и лопатами, переговаривались:

— Хватит, братцы, накатались!

— Эх, не везет пехоте!

В самом деле, на участке барханов вся тяжесть похода снова пала на царицу полей.

Артиллеристы недавно подтрунивали над нами, а теперь сами стали нуждаться в нашей помощи. Тяжелые тягачи, которыми, казалось, нипочем было любое препятствие, студебеккеры, своим ревом сотрясавшие пустыню, даже могучие танки, — вся техника буксовала, застревала в песках. Мы подкладывали тальник и саксаул под колеса и траки, привязывали к тяжелым машинам арканы и с криками: «Эй, взяли! Еще раз взяли!», — волокли их вверх — на каждый бархан, на каждый холмик — и с еще большим трудом, держась за веревки, до крови обдирая ладони, осторожно спускали вниз.

Пескам не было конца. Будто весь мир обратился в сыпучие барханы, и начинало казаться, что люди и техника никогда не выберутся отсюда! Долгие часы продолжалось это медленное движение войск по пескам Хингана, изредка отдыхали солдаты в заброшенных глиняных строениях, в полуразрушенных буддийских пагодах. Встречались и населенные дворики, обнесенные плетеными заборами; в них жили одни старики, в длиннопольх, до пят чекменях, и дети с косичками на бритых головенках. Чабаны безмолвно встречали и безмолвно провожали нас.

Вечером третьего или четвертого дня, когда мы взбирались на не знаю какой уж по счету высокий бархан, я столкнулся лицом к лицу с комбатом. Вместе с начальником штаба батальона он шел по обочине, а когда нужно было, тоже подставлял плечо под какую-нибудь застрявшую машину, тоже тянул за канат. Увидев Колбаскина, комбат заулыбался:

— Эй, Василек! Что-то сник, будто целый месяц колбасы не ел...

— Колбаса-то у меня есть, — улыбнулся Вася, потрогав свой

облупленный багровый нос.— Плохо, что целый месяц мы ищем самурая и никак не можем полюбоваться на него, товарищ капитан!

— Не спеши, не спеши! Самурай — не девушка, чтобы топотаться на свидание с тобой.

Я хотел незаметно отодвинуться за других бойцов к дальнему от капитана борту машины, но он окликнул:

— Солдат Мурадов!

Я вынужден был выпрыгнуть из кузова, подойти к нему. Комбат, отведя в сторону покрасневшие от бессонницы глаза, сказал:

— Младший лейтенант заболела, зовет тебя... Она вон в той машине.— Он кивнул на студебеккер, втянутый на вершину бархана.— Иди, я скажу Харитонову, где ты будешь.

По колено увязая в песке, я пошел туда. Взошел наверх и чуть не ахнул. Впереди внизу лежала небольшая, необычно зеленая долина. А за ней, там, где сквозь вечерний мягкий туман виднелись невысокие горы, краснело в закатных лучах солнца причудливое здание монастыря. Построенный будто из красного мрамора, он весь полыхал — красные стены, удивительная красная крыша с резными карнизами, все красное.

С трудом оторвав взгляд от этой фантастической картины, я подошел к одной машине и взобрался в кузов.

Оля, закутанная в шинель, калачиком свернулась меж штабных сундуков и мешков. Глаза были закрыты. Ее, видно, мучила температура: лицо полыхало, губы потрескались.

Я опустился на дно кузова и, не зная, что делать, спросил:

— Товарищ младший лейтенант, может, воды подать?

Младший лейтенант открыла и снова закрыла глаза. Облизнув губы, прошептала: «Холодно». Ее бил озноб.

Я снял шинель и накрыл ею Олю.

— Малярия, наверное,— сказала она, не открывая глаз.

Машина тронулась. С тряской проскочив мелкую речушку, мы достигли стен древнего монастыря. Остановились в тени высокой чинары. Отсюда монастырские строения уже не казались огненно-красными.

Другие машины подходили одна за другой и тоже останавливались на площадке перед пагодой.

К нам в кузов влез комбат. Не глядя на меня, он опустился у изголовья Оли, потрогал ее лоб.

— Может, в медсанбат поедешь, Оленька?

Оля открыла глаза, взяла Газиева за руку.

— Не надо, Даврон, пройдет... Холодно только!

— Я приказал разжечь костер. Сойдешь?

— Да...— Оля, плотнее запахнув на себе шинель, с трудом поднялась.

Солнце зашло за горизонт. Монастырь, только недавно полыхавший багрянцем, стал коричневым. Около железных решетчатых его ворот два старых монаха в длинных бархатных

одеждах, улыбаясь, низко и часто кланялись солдатам, но за ограду никого не выпускали.

Под чинарой и вправду запылял костер. Комбат показал на высокий стог у речушки, которую мы переехали, и приказал мне принести сноп сена. Я побежал туда. Пробираясь между грузовиками, услышал: «Мансур!» Гляжу — Мирхайдар! Стоит беспечный, фуражка в руках полна яблок, с сочным хрустом уминает, видать, не первое из них.

— Яблоки? — удивился я. — Откуда?

— Для нас это не проблема, браток! — Мирхайдар хвастливо засмеялся. — На, возьми... А ты, вижу, все еще топаеть на своих двоих... Э, недотепа! Говорил — не послушался... А ну, пойдем, пропустим по маленькой! — вдруг сказал он и поволок было меня к одной из машин. Тут только я заметил, что он уже навеселе.

— Некогда, Мирхайдар. В другой раз как-нибудь.

Я с трудом отделался от «верблюда».

Когда я притащил охапку сена, комбата около машины уже не было. Оля, все так же закутанная в шинель, сидела, согнувшись, перед костром и подкидывала в огонь сухие сучья. Я вынул из кармана и протянул яблоко младшему лейтенанту.

В глазах Оли вспыхнула детская радость.

— Ой, яблоко? Настоящее? Откуда взял?

— Нашел... для вас! — сказал я смущенно.

Оля погладила яблоко ладонью, понюхала его.

— Ароматное, запах чудесный. — Задумчиво поглядела на костер и вдруг тряхнула головой. — Эх, сейчас бы глоток вина!..

— Спирту хотите?

— Нет! — Оля брезгливо поморщилась. — Вина, говорю... Когда мы стояли в Австрии, такие вина там были!

Я сорвался с места.

— Куда ты, Мансур?

— Сейчас вернусь!

Мирхайдар должен быть в одной из грузовых машин, выстроившихся у берега речушки; большинство из них, судя по грузам, принадлежало ПФС. Но машин было много, как найти Мирхайдарову машину в такую темень? Стоп! Не он ли это храпит, дорогой Верблюд? Храпит своим знаменитым, не дававшим нам уснуть в землянке храпом? Вот так удача! Мирхайдар удобно примостился в кабине крайнего студебеккера. Я бесцеремонно растолкал его.

— Ты? Чего тебе?.. Какое вино? — Потягиваясь, он нехотя вылез из кабины. — Я же недавно предлагал, а ты не захотел... Спирт нужен?

Я еле втолковал ему, что нужен не спирт, а вино.

— А зачем? А-а... К той красавице подъехать? Хе, а ты, я вижу, не дурак... Ну, ну! Шуток не понимаешь!

Мирхайдар пьяно засмеялся, обнял меня за плечи и спросил, где мы стоим.

— Вино-то есть,— вернулся он к моей просьбе.— Но без разрешения хозяина не могу дать. Ты иди к себе. Капитан придет, я тебе сам тогда доставлю бутылочку... для такого дела не жалко...

Костер почти потух. Оля, совсем обессилев, полулежала на плащ-палатке.

— Ну, где ты ходишь, Мансурчик? — сказала она, приподняв голову.— Я тут одна-одинешенька...

Мне не хотелось говорить, что я ходил за вином. Подкинув в костер сухих стеблей, я молча присел на краешек палатки, брошенной на солому.

— В котелке еда, поешь... Наверно, остыло...— не отрывая взгляда от искр, почти прошептала Оля. Потом помолчала и спросила: — Мансур! Ташкент... хороший город?

Я почувствовал, как в груди у меня екнуло: приятно было услышать это слово — «Ташкент».

— Еще бы, товарищ младший лейтенант! Замечательный.

— Там есть институт иностранных языков? Не знаешь?

— Этого не знаю, но университет там есть. Это точно.

Оля вздохнула.

— В июле, когда бывших студентов освобождали от службы... Мне тоже надо было демобилизоваться. А я... почему-то сюда поехала... Теперь вот... лежу у буддийского храма... Надо было демобилизоваться тогда... Зачем я поехала сюда?..

В ее голосе была какая-то тихая тоска.

— Товарищ младший лейтенант,— сказал я, чувствуя, что задыхаюсь от жалости к ней.— А вы сами... откуда будете? И вообще...

— И вообще, что за человек, да? — Оля тихо засмеялась: — А сколько тебе лет, Мансур?

— Восемнадцать. По документам девятнадцать, а на самом деле...

— А на самом деле прибавил год, чтобы взяли в армию, да? — Голубые глаза ее вспыхнули нежно и понимающе.— Мне тоже, Мансур, когда началась война, было восемнадцать... Ты читал про девушку по имени Таня?.. Может, слышал о ней?

— А как же! Это Зоя Космодемьянская.

— Ну да... Я была тогда на первом курсе института иностранных языков. И мне захотелось стать такой же, как Таня... Я ушла на фронт... Не знала, что не смогу такой стать.

— Почему вы так говорите, товарищ младший лейтенант?

— Почему да почему... Фамилия не такая красивая! — опять засмеялась Оля.— Ольга Куприянова! Нет, не звучит!

— А дальше? Дальше что было?..— спросил я, не обращая внимания на ее иронический тон.

— Дальше?.. Дальше в штабе дивизии, в разведотделе переводчицей была. Потом и радисткой работала, и на медсестру выучилась. Потом... уже с Давроном... с комбатом была в десантных частях... Нас в тыл врага в словацкие горы сбросили.

Он тогда ногу вывихнул, ходить не мог. Отряд не имел права ждать, ушел на задание. А я с комбатом осталась. В каком-то старинном замке... Нас окружили немцы. Жуть. Представляешь?

«Да, да, товарищ младший лейтенант, представляю, все понимаю. Идиот я, дурак бестактный, правильно меня комбат выгнал!»

— Ну а дальше, дальше... — взмолился я, — дальше что с вами случилось?

— Здравствуйте, Оленька! — Послышался звон шпор, и у костра возникла высокая фигура капитана Ногаева. Он положил на землю какую-то коробку, присел рядом со мной. — Не удивляйтесь, пожалуйста. Я получил донесение, что вам нездоровится. В надежде, что это поможет, принес вам эликсир бодрости и еще кое-что, полагающееся к нему.

Чертов Мирхайдар! Верблюд! Я хотел было встать, но Оля удержала меня:

— Куда ты? Попробуй вина, раз и ты, и капитан проявили такую находчивость... и взаимовыручку.

Ногаев, хмуря густые черные брови, раздраженно посмотрел сначала на меня, потом — совсем иначе, словно умолял о пощаде, на Олю.

— Оленька! Еще раз прошу вас извинить меня за ту... грубость... тогда в степи...

— Не надо об этом, не поднимайте мне температуру, — Оля нетерпеливо отбросила со лба прядь волос. — Лучше наливайте ваше вино...

Ногаев обрадованно вынул из бумажной коробки большую бутылку, похожую на бутылку из-под шампанского, затем ловко опрокинул содержимое коробки на свободное место плащ-палатки: целая гора печенья, пять-шесть яблок и две рюмки...

— Рюмки? — удивилась Оля, взяла одну из них и стала рассматривать ее. — Хрусталь. Каково, Мансуру?

Ногаев ласково отнял рюмку и, наливая в нее вино, заулыбался.

— Ногаев никогда не был неудачником, Оленька. Только однажды... Ну, да ладно... Итак, пусть принесет вам исцеление это вино! Настоящее французское! За вас, Оленька!

— А Мансуру?

— И Мансуру нальем!

Ногаев чокнулся с Олей, выпил свою рюмку, затем налил ее снова и протянул мне. Я заколебался, но Оля протянула рюмку, чтобы чокнуться со мной.

Была не была! Я выпил. Ногаев передышки не признавал. После второго-третьего тоста по телу, с непривычки, разлилась благодатная слабость. Я довольно плохо стал разбираться в событиях. Но и сквозь туман было все хорошо слышно.

— Оленька! Поверьте, с тех самых пор, как я увидел вас, не нахожу себе места!

— Не надо, — почти жалобно произнесла Оля.

— Подождите, Оленька. Дайте хоть боль высказать. Можете мне, конечно, не верить, но, слово чести, я впервые встречаю такую девушку, как вы. Видит бог, до сих пор ни одна женщина не отвергала мою... мои ухаживания. Пойдите, не перебивайте меня, умоляю вас. Я знаю, что говорю пошлости. Но только увидев вас, я понял, что до сих пор был пошляком. Вы, словно путеводная звезда, вывели меня...

— Капитан Ногаев! — крикнула Оля.

— Хорошо, хорошо, не буду! — Ногаев, тяжело вздохнув, замолк. Оля тоже вздохнула.

— Ну что ж, молчим? Говорите о чем-нибудь, только не обо мне, пожалуйста.

— Но я говорил искренне. Я только теперь...

— Спасибо. Но... хватит.

— Почему хватит? — нетерпеливо и протестующе перебил Ногаев. — Потому что у вас на жизненном пути встретился этот... грубиян? Неужели вы любите его?.. Да у него же еще и жена...

— Вы снова становитесь пошляком! — жестко сказала Оля. И с болью добавила: — Да что вы знаете, капитан Ногаев?!

— А вы что знаете? — с ожесточением крикнул Ногаев. — Вот письмо от его жены! В штабе лежало... Он обманывает вас... Оля привстала.

— Уйдите, Ногаев, сейчас же... или я уйду... — Оля словно поперхнулась. — Комедиант вы...

Ногаев вскочил на ноги, постоял, глядя на потухающий огонь, потом сказал: «Эх, Оля, Оля!» — и медленно зашагал от костра в темноту.

Оля долго сидела, обняв колени руками, в одной из них было зажато скомканное письмо. «От Саломат?» — пронеслось у меня в голове. А что же Оля?.. Тонкое лицо ее, смутно освещенное слабеющим пламенем, глаза, уставленные в одну точку, были печально-безнадежны...

— Что тут у вас происходит?

Комбат стал прямо надо мной и с хмурым недоумением глядел на разбросанные по сену рюмки, бутылку, еду.

Оля взглянула на него снизу вверх.

— Был Ногаев. Угощал нас вином. Кстати, принес тебе письмо... из штаба...

Комбат взял письмо и, присев у костра, взгляделся в адрес. Потом резко бросил клок сена в огонь, торопливо развернул треугольник.

— Это то самое, что ты ждал? — Голос Оли дрогнул.

— Что?.. Да, то самое... то самое.

Оля встала и пошла вниз, к реке.

— Оля!

Она не ответила. Я невольно поднялся.

— Оля! — громче повторил комбат. Из темноты послышалось негромкое:

— Оставь, Даврон!..

Комбат растерянно взглянул на письмо, на меня. Глухо сказал:

— Иди за ней! Я сейчас...

Я почти побежал за Олей в темноту, туда, откуда слышались ее вдруг ставшие торопливыми шаги. Потом шаги пропали, и я чуть не наткнулся на нее.

— Товарищ младший лейтенант.

— Не надо, Мансур, иди...

— Товарищ младший лейтенант!..— повторил я.— Оля!..

— Уйди же! — словно отрубил Оля и добавила тихо: — Прошу тебя...

Я покорно повернул обратно...

Знай я, что случится через неделю, я не повернул бы обратно! Не повернул бы? Нет, даже знай я о том, что произойдет в бою, вернее, после жестокого боя за Халанганский укреп-район, я не смог бы не послушаться Олю. Да и чем я утешил бы ее в ту ночь? Есть горе, не подвластное утешениям.

Так и не досказала мне Оля свою историю. А потом уже не было случая. Да и увидел я ее после этого уже в бою, вернее, в самом конце боя.

А бой начался на рассвете...

11

...Высоченные, будто целующиеся с небом барханы внезапно кончились. В полночь мы спустились в какую-то долину. Автомашины, тягачи с артиллерией, танки остались сзади нас, в складках холмов.

Мы двигались в зарослях гаоляна, и хотя пока еще противником не пахло, но по тому, что приказы отдавались шепотом, а солдаты ступали тихо и осторожно, я почувствовал, что бой вот-вот развернется.

Неприятная дрожь охватила меня. Понимаю, что предстоящий бой — дело моей жизни и смерти: не о смерти от вражеской пули думаю, а о том, что если хорошо сумею показать себя, то, возможно, капитан простит потерю пулемета, а струшу — тогда уж и не знаю, что со мной будет. Как нарочно, нет рядом и Васи — комбат взял его к себе связным,— хоть пошутит бы Колбаскин!

Сухо шелестят высокие, словно камыш, стебли густого гаоляна, листья его царапают нам лица. Вокруг — тьма, будто вошли мы не в гаоляновые заросли, а в дремучий лес, только на чистом небе сверкают крупные белые звезды. Где-то вдали, за зарослями, затарахтит вдруг пулемет, затем снова наступает тишина, которую нарушает только тихий хруст стеблей под ногами.

Внезапно, кинжально прорезав ночную тьму, к небу взлетели голубые и красноватые ракеты. Это далеко, где-то слева от нас. Поэтому, должно быть, мы не обращаем внимания на ракеты

и проходим еще с версту, затем гаоляновые заросли расступились, и впереди в низовье сверкнула, как серебряный пояс на черной одежде, ртутная лента реки. В лицо пахнуло приятной прохладой, послышался тихий влажный шелест.

Противника все еще нет.

На берегу реки, среди камышовых джунглей, саперы, шлепая по воде и постукивая топорами, наводят мост, оттуда доносятся негромкие команды, приглушенная ругань... Настланые на надувные лодки ветви и набросанное сено ходят ходуном под ногами...

Сразу за рекой опять начались поля гаоляна и проса. Ракеты вспыхивали теперь совсем близко, прямо по пути нашего движения. «Не останавливаться, бегом, марш!» Мне кажется, что топот солдат, их тяжелое дыхание заполнили всю долину.

На макушке какого-то холмика, засеянного просом, нас встретил — будто выскочил из-под ног — комроты Харитонов.

— Ложись! — скомандовал он.

Небо все еще полно звезд, но тьмы уже нет — в каком-то странном зареве вдали проступали темные массы холмов.

Неожиданно холм, на котором мы лежали, тряхнуло. Да еще как! Заткнув пальцами уши, я лежал — носом в землю; рядом кто-то восторженно прошептал: «Смотри, братцы, «катюши!» Гвардейские минометы расположились, наверное, на левом берегу реки: оттуда рванулся огненный вихрь. Разрывая ночную тьму и сполохами освещая долину, он падал на плоские холмы впереди нас, на какие-то насыпи, склады, вышки. Вот в одном, втором, третьем месте там возникли пожары. Теперь видно стало, что загорелись строения, заборы, обнесенные проволокой, доты. Заполыхали вроде и сами холмы, обнажая окопы, ходы сообщения, какие-то пещеры-укрытия. И среди огня и дыма забегали, закопошились люди-муравьи. Вот они, вот они, японцы!

Страх, полчаса назад заставлявший меня невольно дрожать, сразу притупился. Но вместе с ним исчезла и мысль свершить что-нибудь такое, что искупило бы мой проступок: бой несколько не был похож на то, что я представлял себе и к чему готовился. За нас воевала артиллерия!

Заполыхали две вышки на левом фланге самурайских позиций. Я увидел, как за каменными стенками какого-то двора заматались, забились, бросаясь в разные стороны, лошади. Жалостное ржанье на миг заглушило, как показалось, даже гул минометов и пушек.

— Эх, жаль бедняжек!

— Беги! Спасай!

Знакомый, слегка хриловатый — простужен он, что ли? — голос спросил:

— К атаке готов, Дмитрий Михайлович?

— Готов, товарищ комбат!

— Харитонов! Бери левее намеченного. Ближе к берегу!

— Есть, товарищ капитан!

— Осторожней, на берегу много дотов и дзотов! В атаку идти за шквальным огнем и за танками. Понял? Все!.. Вон они: танки! — крикнул комбат и, пригибаясь, побежал по склону к другой роте.

Танки рванулись откуда-то сзади, из лощин. Сотрясая холм, на котором мы лежали, они выскочили на ровное место перед рекой. Танки шли, стреляя на ходу, подбавляя своего огня и грохота в бушующую впереди преисподнюю.

Старшина Сало вскочил:

— Вперед!

Я зачем-то дал очередь из автомата и кинулся за ним с вновь пробудившимся в душе страхом и восторгом одновременно. Но стоило только нам подняться, как притихшие было насыпи и укрепления ожили, засверкали огненными точками, струйками. В воздухе жутко завизжали пули.

— Ложись! — крикнул кто-то.

Я бросился на землю и чуть не вскрикнул от боли и внезапного ужаса. Ах, черт, проволока! Оборванная минометной и артиллерийской стрельбой, колючая проволока обожгла, как раскаленное железо.

— Огонь!

Приподняв голову, старшина полулежа застрочил из автомата, потом снова вскинулся, побежал, крича во все горло: «Вперед, орлы!» Орлы тоже побежали вперед, обгоняя его. Маленький сержант, командир моего отделения, бежал в трех шагах впереди меня. Вдруг он начал медленно падать. Я подскочил, приподнял его, но тот, уронив голову, обвис на моих руках.

— Пронкин? — Старшина Сало, тяжело дыша, помог уложить сержанта на землю. — Ах, черт! Отчаянный парень!.. Идут санитары! Вперед, сынок!

Вот они, позиции самураев. Пустые?

Траншеи, глубиной в человеческий рост, были завалены разбитыми пулеметами, винтовками, катушками проводов, ящиками от дисков. И трупами! Отовсюду слышались стоны раненых.

Мы отдышались немножко. Стрельба не прекращалась, особенно жаркой она была на левом фланге, как раз у каменной ограды, где были заперты кони. По траншее мы двинулись налево. Перед последним поворотом, который выводил к каменной ограде, кто-то прыгнул на меня, прижав к стенке окопа, и хрипло заорал:

— Ложись, дуралей!

Мне показалось, будто земля перевернулась вверх дном. Окутанная дымом и копотью каменная ограда взорвалась, тысячи осколков просвистели над головой.

Из-за ограды вырвалась лавина коней! Опрокинув железные ворота, перескакивая через остатки заграждения, топчя и опрокидывая друг друга, с отчаянным ржанием мчались лошади. Некоторые падали в окопы и траншеи, другие, обезумев в едком

дыму, налетали на них. К счастью, потом лавина, видно, подчиняясь инстинкту, вдруг повернула к реке.

— Эх, вот это кони! — восхищенно произнес кто-то. Я обернулся. Старший лейтенант Харитонов! Тут только я догадался, что человеком, который минуту назад прыгнул на меня, спасая мою жизнь, был командир роты.

Внезапно перед нами возник запыхавшийся Вася Колбаскин.

— Товарищ старший лейтенант! Комбат приказал с занятой позиции не двигаться. Снова пойдут танки...

— Дмитрий Михайлович, — окликнул старшину Харитонов, — приказ слышал? Видишь вон ту высоту у берега, — под ней дот. Захватить!.. Ясно? — Старший лейтенант выполз из траншеи.

Вася по-свойски стукнул меня по плечу:

— Ну, как ты, Мансур? Еще не умер от страха?

— А ты?

— Нам-то что? Мы, брат, батальоном командуем, — засмеялся Вася. — Вон они, танки!..

Теперь танки были не сзади нас, как перед началом боя, а сбоку. Они шли вдоль речного берега, то исчезая в дыму горящих строений, то появляясь вновь. Долину снова охватил огненный смерч. Снова запылали плоские прибрежные холмики, опрокинутые вышки, каменная ограда — все запылало, все заволоклось дымом.

Разделившись на две группы, побежали и мы по траншеям.

— Мансур!

Я замер на месте. Кто зовет?

— Серкабай!

В низком кустарнике у развороченной траншеи лежал Шоюсуф. Серкабай забинтовывал ему ногу.

— Что с Шоюсуфом? Как вы тут очутились?

— Как, как... Ты что, один воюешь с самураями? — зло проговорил Серкабай.

Шоюсуф, увидев меня, запричитал:

— Мансур! Друг! Если что случится со мной...

— Да оставь ты! — еще пуще рассердился Серкабай. — Что с тобой случится? Рана с ноготок, а слез целый поток... Мансур, помоги-ка!

Оставаться или бежать? Секунду я стоял в нерешительности, а уже из-за поворота траншеи показалась Оля; сумка с красным крестом билась у нее на спине.

— Товарищ младший лейтенант!

— Ой, — выдохнула Оля, не слушая меня. — Смотри!

У берега, сквозь утренний туман и дым, забелели какие-то флажки. Из обвалившихся пещер-блиндажей, из черных пастей дотов, из окопных ям один за другим появлялись самураи — оборванные, грязные, окровавленные, с почерневшими лицами. Сдаются самурай! Хромая и поддерживая друг друга, они выходили из укрытий. Среди них бросился в глаза офицер; побрякивая

навешанными на грудь медалями, он не шел, а как-то странно передвигался, притоптывая, словно отплясывая незнакомый дикий танец... В том, как он это делал, звякая шпорами сапог, как, обнажая зубы, смеялся, было что-то жуткое.

— Епирай!¹ Что это с ним? С ума сошел? — Серкабай от удивления даже выпустил бинт.

— А ну, помоги, Мансур! — сказала Оля. Она стала на колени около Шоюсуфа.

Кончился бой! Я так и не выстрелил ни разу ни в одного самурая. И впрямь за нас повоевали, выходит, «катуши», пушки да танки!

Выйдя из траншеи, я заметил десяток конных, которые объезжали с левой стороны изрытый снарядами «наш» холм. Среди всадников... был и Арслан! С автоматом за плечом, он небрежно развалился в седле; гнедой гарцевал под лихим солдатом.

— Арслан! — не помня себя, закричал я и бросился к нему. Всадники остановились. Арслан поскакал ко мне.

— Поэт, ты жив? — Он соскочил с коня и раскрыл объятия. Я впился радостно-укоризненным взглядом в его скуластое лицо, на котором озорно посверкивали глаза, и, глотнув почему-то подступивший к горлу комок, сказал:

— Где же ты был, Арслан-лев?

— Э-э! — Арслан залихватски присвистнул. — В походе еще повстречался с разведчиками, побывал с ними в таких переплетах, что и за год не перескажешь!

Подошла Оля. Она с обидой посмотрела на Арслана.

— Что ты за человек? Оставил товарища в беде, а сам геройствуешь... Где Мансуров пулемет?

— Да ничего не будет Мансуру! Не бойтесь, товарищ младший лейтенант! Пулемет я сдал на склад. Все в полном порядке!

— Разве так друзья поступают? — сказала Оля, бледнея. — Ты бы видел, как его комбат...

— Да что мне ваш комбат! — иронически хмыкнул Арслан. — Наш лейтенант с генералом говорил обо мне. Все уже решено!..

В этот момент один из всадников позвал:

— Арслан! Поехали...

— Простите, братцы! Мне — в разведку!

Арслан попрощался с Шоюсуфом, с нами и, стегнув своего гнедого, поскакал за конным отрядом.

Оля презрительно скривила губы.

— Разве так поступают настоящие друзья? — еще раз сказала она.

И мне почему-то особенно запомнились эти ее слова... А через час... Уже четверть века прошло, а я помню все, что случилось, до мельчайших подробностей...

¹ Боже мой!

Похоронив сержанта Пронкина и двух молоденьких солдат, мы — молодые ребята из взвода старшины Сало, — подавленные, усталые, собирались отдыхать после боя. Но прибежал Серкабай.

— Раненых увозят. Шоюсуф еще раз хочет попрощаться с тобой, Мансур. Пойдем к земляку.

Получив разрешение старшины, мы побежали вдоль обугленных и застекленевших песчаных насыпей, мимо разрушенных дотов и спустились к речке, где у камышовых зарослей высотой с верблюда расположилась вторая рота нашего батальона. Солдаты, сложив оружие в козлы, отдыхали; многие спали прямо на земле, прижавшись друг к другу. Поодаль, в тени, стояли два студебеккера. Перед одной машиной, разложив карту на капоте, разговаривали наш комбат и пожилой командир второго батальона, худющий, точно высохшее дерево, майор. А со второй машины прыгнула Оля. С ее лица струился пот, пуговицы гимнастерки расстегнулись, обнажив белое, нетронутое солнцем тело.

— Ну-ка, взбирайся, — сказала она мне. — Твой земляк тут. Если комбат разрешит, вместе съездим в медсанбат. За час обернемся.

— Спросить разрешения?

— Не надо. Я за водой сбегаю и сама скажу.

— Дайте я принесу воды, товарищ младший лейтенант. — Серкабай взял из рук Оли флягу и скрылся в высоких камышах.

В кузове, выстланном соломой, лежало с десятков перевязанных солдат. Они тихо переговаривались, некоторые даже смеялись чему-то, один только пожилой фронтовик, чья забинтованная голова казалась похожей на огромную чалму, постанывал, закрыв глаза. Шоюсуф сидел, прислонившись к кабине спиной, глаза его сузились, покраснели, курносый нос вроде еще сильнее вдавился в пухлые щеки.

Стоило ему увидеть меня, как в глазах снова заблестели слезы.

— Друг! — произнес он, чуть ли не рыдая сдавленно. — Спасибо, что пришел, до смерти не забуду твоей доброты.

— Чего ты плачешь? — удивился я. — Рана твоя не тяжелая.

— Говоришь, не тяжелая, а вдруг отрежут ногу? А жена у меня, сам знаешь, молодая...

— Кто сказал, что отрежут? Младший лейтенант?

— Нет, она, наоборот, подбадривает меня... Ты бы поговорил с ней. Пусть она врачам скажет, что жена у меня...

Послышались грузные шаги, и раздался голос комбата.

— Поехали! Садись в кабину, Оля!

— Ты тоже поедешь, Даврон?

— До штаба подбросите. Садись...

— Нет, я буду с ранеными! — Оля с флягой в руке взобралась в кузов. — Кто хочет пить?

Пожилой солдат кивнул головой-чалмой. Отложив в сторону автомат, Оля опустила перед ним на колени.

Над бортом грузовика показалась голова Серкабая.

— До свидания, Шоюсуф! Попадешь на родину, передавай всем нашим привет, в Туятасе, в Карасуве...

— Прощай, друг! — У Шоюсуфа дрогнули губы.

Машина тронулась вдоль берега реки. Дорога была неровная, с ухабами, вырытыми снарядами. Грузовик, ревя мотором, то преодолевал подъем, то медленно трясся по прибрежным колеям вдоль камышей.

Проехали мы, наверное, километра два, не больше: стоянка нашего батальона еще была видна. Другие же части ушли вперед сразу после боя.

Вдруг редко и беспорядочно захлопали выстрелы, и машина, точно уткнувшись в препятствие, стала.

Убаюканный качкой, я так и не понял сначала, что к чему, и, только увидев Олю, которая вскочила во весь рост с автоматом наперевес, очнулся.

Дверь кабины с грохотом распахнулась. Комбат прыгнул на заднее колесо грузовика.

— Есть автомат? Давай сюда! — Весь бледный, он выхватил у Оли автомат. — В камышах — засада. Взять оружие в руки! Ты чего разинул рот? — крикнул он мне по-узбекски. — Бери автомат!

Комбат спрыгнул на землю, и мы сразу услышали снизу первую очередь.

Я перепрыгнул через борт и подполз под кузов.

Машина стояла боком к зарослям. Расстояние до них — несколько шагов. Можно стрелять в упор. Но самураев не видно. Только по слабому шевелению камышей можно было понять, где они.

Я дал очередь по заколыхавшимся зарослям — и тут услышал отчаянный окрик комбата:

— Оля! Стой! Назад!

Оля бежала к другому студебеккеру, остановившемуся шагах в пятидесяти от нас, почти рядом с камышовым клином. Оля еще бежала к машине, когда густые заросли вдруг раздвинулись и прямо к машине выскочили два самурая. В руках одного была граната, у другого кинжал! Обляпанные грязью, с перекошенными какой-то холодной решимостью лицами, они остановились, будто поджидая младшего лейтенанта.

— Оля! — вскрикнул я. По нашей машине хлестнула очередь.

Комбат дал очередь в ответ.

— Смертники! Ложись, Оля!

Услышала ли она голос комбата? Самурай, который держал гранату, размахнулся. Но бросить гранату в машину он не успел. Оля успела подскочить к нему и ударом приклада выбила гранату из его рук.

— Оля! — Комбат, как мне показалось, кубарем покатился

по откосу вниз. Я выскочил вслед, но, еще не успев прицелиться, увидел, как второй самурай замахнулся кинжалом. Я кинулся вперед, зацепился за что-то, покатился вниз. Самурай с окровавленным кинжалом в руке, скользя по грязи, медленно отступал назад, в камыши.

Комбат обернулся ко мне. Лицо его было страшно. Крикнув по-узбекски: «Держи негодяя!» — он одним рывком выскочил на дорогу и помчался ко второй машине.

Его могли убить очередь из зарослей. Я побежал наперерез смертнику, ломая телом камыши. Но смертник, вдруг что-то прокричав — хрипло и жутко, перекосив свое обляпанное грязью лицо, вонзил кинжал себе в живот. Острие сверкнуло на солнце, и самурай с диким и страшным выражением в глазах схватился за живот обеими руками, покачался секунду, потом упал ничком в истоптанный, поломанный камыш.

Я бросился назад. Со стороны каменной ограды на холме к нам бежали солдаты. Комбат донес Олю на руках до машины и бессильно опустил на землю у задних колес нашего студебекера.

— Оля!

Даврон-ака, услышав мой голос, обернулся; в лице его не было ни кровинки; большие серые глаза умоляюще зывали о помощи.

Оля — должно быть, раненная в бок — лежала на спине, глаза ее были закрыты, мягкие волнистые волосы рассыпались по плечам.

— Товарищ младший лейтенант! — Я не смог дальше выговорить ни слова.

Оля открыла глаза, мне показалось, что она хотела что-то сказать мне, но не смогла.

Прибежали солдаты. Оттеснили меня. Вперед вышли старшина и Харитонов.

Оля застонала:

— Дмитрий Михайлович...

— Потерпи, доченька... — Старшина взялся за ворот Олиной гимнастерки и тут же убрал руку: весь верх гимнастерки был в густой крови.

У старшины дрогнули усы, он обернулся к комбату.

— Надо скорее в медсанбат...

Оля услышала, отрицательно покачала головой. Она не стонала, лежала неподвижно, угасая на глазах. Потом вдруг мучительно содрогнулась, открыла глаза и, будто прощаясь со всеми, обвела нас взглядом.

— Оля! Товарищ младший...

— Мансур, — тихо, но отчетливо сказала Оля. — Даврон! — и, не договорив, застонала. Глаза ее словно задернулись кисеей.

— Оля! — Комбат приподнял ее голову и стал целовать лоб, глаза, волосы. — Оля! Оленька!

Старшина положил руку на его плечо.

— Товарищ капитан!

Комбат взглянул на старшину, потом на меня: он ничего не видел!

— Товарищ капитан!

— Да, да... Правильно. В медсанбат... Скорее! Скорее! — Комбат быстро встал, поднял Олю на руки.

В этот момент с грохотом подкатила какая-то легковушка. Я увидел выскочившего из кабины Ногаева.

— Что случилось? Что такое? — Ногаев, отодвинув плечом молчащих солдат, прошел вперед и увидел комбата с Олей на руках.

— Оля? Когда? Что случилось?

Комбат с помощью Харитонова протянул тело девушки старшине, уже влезшему в кузов, обернулся к Ногаеву.

Харитонов взял Ногаева под локоть:

— Послушай, капитан...

Но Ногаев оттолкнул его.

— Как это случилось, я спрашиваю?! Не сберег такую девушку! Что молчишь? Я тебе говорю: такую девушку не сберег! — Ногаев, весь дрожа, с горящими от ярости глазами надвигался на комбата. Мне показалось, что сейчас он ударит Газиева. Опустив голову, комбат еле слышно проговорил:

— Да, не сберег.

Ногаев, побледнев, сжал кулаки.

— Не сберег! Эх ты, герой... Как это могло случиться после боя? Кто ответит за нее?

Комбат резко отвернулся. Не глядя на нас, вскинул голову.

— Старшина Сало! Ты повезешь Олю в медсанбат! — жестко проговорил он и обернулся к Харитонову: — Старший лейтенант Харитонов! Твоей роте прочистить весь берег! Каждый вершок!.. Нет, стой, я сам!

— Разрешите мне, товарищ капитан... — сказал Харитонов.

Комбат не ответил ему.

— Рота! Слушай мою команду. Направление — камыши. Интервал три метра, оружие взять на изготовку. Цепью, вперед! — И, выхватив из кобуры пистолет, он первым двинулся к камышам.

Обойдя застывшего Ногаева, с автоматами и винтовками наперевес, мы вошли вслед за комбатом в густые камыши.

13

Через час на пологом холме, где взошло просо, к десятку свежерытых могил прибавилась еще одна.

Олю привезли на грузовике медсанбата. В кузове стояли две медсестры, в кабине сидел полковник Белобородов. В глубоком молчании опустили мы гроб с телом Оли в могилу. Старшина Сало, то и дело вытирая влажные глаза, высоким срывающимся голосом приказал салютовать. Дали три залпа из автоматов и винтовок. Положили на могилу букет цветов, принесенный мед-

сестрами. Когда мы строим спустились в лощину, мимо нас промчался грузовик медсанбата. В кабине сидел, опустив голову, полковник Белобородов. Комбата на машине не было. Я невольно обернулся назад.

Даврон-ака сидел на гребне холма, чуть повыше могил, и глядел куда-то вдаль. В моей памяти почему-то всплыли Олины слова: «В июне, когда бывших студентов освобождали от службы, я трже могла демобилизоваться. А я почему-то сюда приехала. Зачем?»

Чувствуя, как рыдание перехватывает горло, я до боли стиснул зубы.

14

Прошло еще несколько дней.

Мы в Маньчжурии, преследуем врага. Почти не встречаем сопротивления. Гарнизоны японцев, не выдерживая ударов передовых танковых частей и артиллерии, спешно отступают, бросают укрепления, оставляют небольшие города, сдаются в плен целыми полками.

Однажды вечером, когда мы, остановившись на ночлег на краю какого-то рисового поля, только было принялись за ужин, явился связной комбата, мой бывший второй номер Вася Колбаскин.

— Ну, что ж, пойдём, братец.— Василек был явно взволнован.— Тебя в штаб вызывают. Харитонов я уже предупредил. Скорее собирайся. Комбат ждёт!

Васин вид меня насторожил.

— Чего паникуешь? Что-нибудь случилось?

— Не знаю,— Вася отвел глаза.— Кто-то пришел в штаб, из военной прокуратуры, кажется.

— Из военной прокуратуры?

— Да не трать ты! — рассердился Вася.— Не о паршивом твоём пулемете речь... А вопросы там задашь. Понял? Иди.

Штаб был недалеко от нас, сразу за рисовым полем, на гребне холма (почему комбат любил выбирать для штаба возвышенное место — этого я не знаю, но путешествовал штаб только с холма на холм,— благо, их тут до черта). Было еще светло, хотя солнце уже зашло. Но пока я добрался до штаба, начало темнеть. Вот наконец и знакомая палатка все с той же табличкой — «Штаб». Оттуда вышел начальник штаба, пожилой старший лейтенант с проседью в волосах. Увидев меня, он кивнул — входи, мол,— и, нахмутив косматые брови, заторопился куда-то. Я оправил гимнастерку и с бьющимся сердцем уже собирался было откинуть полог и представиться по всей форме, как услышал гневно-хриплый голос комбата, и невольно остановился.

— Вот что, товарищ старший лейтенант. Сколько надо, расспрашивайте о том, что случилось, я готов отвечать. Но, пожалуйста, не касайтесь наших с ней отношений.

— Почему же? — Человек, задававший вопрос, говорил мягко, даже как-то ласково.

— Потому что все это оскорбляет...

— Вас?

— Не только меня. Память ее.

— Простите меня, товарищ капитан, но ваш ответ довольно наивен...

— Как вам угодно, только об этом я говорить не стану.

— Зря! Но — как хотите. Помните только: ваше молчание осложнит дело.

— Пускай! Можете обвинить меня в отсутствии бдительности в тот день. В растерянности даже. Но не трогайте того, что касается только нас с нею.

— Что ж, хорошо.

Внутри палатки что-то затрещало. Поправив пилотку, одернув гимнастерку, я шагнул внутрь.

— Товарищ капитан! По вашему приказанию...

— Вольно! — Комбат, стоявший в середине палатки, обернулся к высокому, плотному человеку, который освещал ручным фонарем походный стол, какие-то бумаги на нем.

— Вот солдат, вызванный вами.

Высокий, плотный человек осветил мне лицо лучом. Встретившись глазами с его суровым, как мне показалось, испытующим взглядом, я уставился в землю.

— Ну, я пошел, — сказал комбат, направляясь к выходу.

Офицер прокуратуры оглядел меня с головы до ног.

— Русский язык хорошо знаешь? — спросил он. — Если знаешь — напишешь объяснение о событиях, которые произошли после боя на речке Халанган. О смерти младшего лейтенанта Куприяновой и нескольких раненых.

О том, что там погибло еще несколько раненых, я не знал.

— О смерти раненых?

— А ты разве не знаешь? — сказал человек, строго и отчетливо выговаривая каждое слово. — Ну, напишешь обо всем, что знаешь, и вручишь написанное начальнику штаба батальона. Будем разбираться. Понятно?

— Понятно, товарищ старший лейтенант!

— Хорошо! — старший лейтенант аккуратно уложил бумаги в свой большой портфель, щелкнул замком и твердой поступью вышел из палатки.

Хоть я и сказал «понятно», но мне ничего не было ясно. «Что, собственно, происходит? Неужели Даврон-ака виноват в том, что произошло в тот день? Или тут что-то другое? Что я должен писать? Как писать?..» Я вышел вслед за офицером в полной растерянности.

Все вокруг было погружено в темноту, только внизу, в лощине, горели костры.

Около палатки, скрестив руки на груди, стоял комбат.

— Товарищ капитан...

— А? — Комбат оборотился.— Ты, Мансур? Хош?

— Старший лейтенант поручил мне написать объяснение о том... ну, о том, что произошло в тот день... но я не знаю, что и как писать...

— Я тоже не знаю,— проговорил комбат, потом добавил сухо: — Что знаешь, о том и напиши!

— Да. Но... неужели за то, что произошло в тот день, должны отвечать вы?

Даврон-ака не ответил, снова уставился в темноту.

— Если бы дело было только в одной ответственности!..— сказал он после долгого молчания.— Эх, какие же люди еще бывают на свете...

Комбат тяжело вздохнул, скинул шинель на землю, прилет на нее:

— Садись-ка, Мансурджан.

Впервые за все время нашего знакомства он назвал меня так.

Чувствуя, что он сейчас в таком состоянии, когда человеку хочется поделиться с кем-то своим горем, я сел рядом. И действительно, этот суровый, молчаливый человек о многом рассказал мне в ту августовскую ночь.

Вот его рассказ, как я запомнил...

15

«...Впервые я увидел Олю год назад. Как раз в конце августа. Мы стояли тогда в лесах Западной Украины, готовились к выброске в тыл противника. Все было готово. Отряду нужен был только еще один боец, чтоб знал немецкий и чешский. И сверх того радиодело и медицину.

Приглашает меня начальник разведотдела и говорит: «Ну, Газиев, нашел я тебе замечательного бойца». А сам улыбается. Подошел к двери, открыл ее, позвал:

— Куприянова!

В комнату вошла девушка в форме младшего лейтенанта, представилась полковнику. Мы познакомились. За три года войны я перевидал многое. Видел женщин, даже совсем молодых девушек, которые в мужестве не уступали самым бывалым солдатам. Но эта — с длинными ресницами и удивительно чистыми голубыми глазами — показалась мне слишком юной и хрупкой для нашей операции, так что я исподлобья взглянул на полковника. Полковник опять усмехнулся, потом разрешил Оле выйти и сказал мне коротко:

— Бери, Газиев! Не будешь раскисать!

Это была наша первая встреча. Через несколько дней наша группа, девять человек, вылетела в тыл противника. До сих пор я помню этот полет во всех деталях.

Простились с друзьями, с представителями из Москвы, с командиром полка полковником Белобородовым, сдали свои

документы, письма, написанные домой, прихватили все необходимое: рацию, автоматы, гранаты, взрывчатку, продукты, одежду, — словом, все, что надо. Поднялись в воздух. В самолете темно — ничего не видать. Только на двери кабины летчиков мерцают голубые и красные огоньки. Оля свернулась калачиком, прижалась ко мне, будто ребенок. И другие, прижавшись друг к другу, казалось, спокойно дремлют. Но я-то знал, что никто не спит, думают о предстоящей операции. Нет, дело не в страхе. Каждый из тех, кто был в самолете, не раз попадал в самые тяжелые переделки. Выдавшие виды, отчаянные, мужественные ребята. Но раньше, как бы трудно ни было, десантник действовал на родной земле, — хоть она и была под врагом. Каждый человек, каждый кустик, каждое дерево на ней помогали разведчикам. А в тот раз все было иначе. Лишь один человек со странной для нас фамилией Немец, поручик чешского антифашистского корпуса Ладислав Немец, знал землю, на которую мы должны были спуститься.

Вот скоро откроется самолетная дверца, и в проеме покажется темная, мрачная пустота. И вся девятка должна нырнуть в эту бездонную пропасть, навстречу полной неизвестности... Тебе, Мансур, еще не понять этих чувств перед прыжком, этих вопросов, которые знакомы разведчику-десантнику: благополучно ли он приземлится или его расстреляют снизу, еще в воздухе?.. И что ждет его на незнакомой земле, если прыжок будет благополучным? И как потом связаться с местными партизанами?

Из кабины вышел один из летчиков.

— Мы в намеченном квадрате, старший лейтенант (я тогда был старшим лейтенантом).

Не успел я дать команду, как Оля первой вскочила на ноги — и к двери.

Дверь открыли. Внизу, в густой, как клей, темноте, замелькали тени быстро летящих облаков; в самолет с шипением ворвались волны холодного воздуха.

— Приготовиться! — приказал я и в темноте неожиданно увидел глаза Оли. Ее большие голубые глаза, которые уже очаровали весь наш отряд. Они не отрывались от темного провала.

Я тихонько пожал руку девушки: мол, все будет хорошо. Оля бросила на меня быстрый взгляд и, видно, поняв по-своему мой жест, нагнулась вперед, но Ладислав преградил ей путь. Он нырнул в темноту первым, за ним Оля, за Олей старшина Сало...

Я не впервые прыгал в тыл врага. Но когда, попрощавшись с летчиком и стоя у дверцы, увидел, как там, в зияющей пустоте, замелькали обрывки черных облаков, на мгновение холодная дрожь пробежала по спине. Может быть, у профессионального парашютиста этого не бывает, но будто какая-то страшная сила, наперекор моей воле, схватила меня за шиворот и оттягивала от пропасти. Я знал, что стоило чуть дольше мгновенья

поддаться этой инстинктивной силе, и уже ничто, никакие доводы разума не заставят меня выпрыгнуть. Я хорошо это знал, помнил бывалых людей, которые поддавались этому холодному страху за себя. Я закрыл глаза и нырнул вслед за бойцами, за побратимами своими.

К счастью, немцы не перехватили нас в воздухе и потом обнаружили не сразу. Но лично для меня начало оказалось не очень удачным. Я шлепнулся на какое-то громадное дерево, кажется, это был дуб. Всей массой тела я упал на листву, она, как амортизатор, смягчила удар, но вот левая нога попала в развилку двух ветвей и зацепилась там. Боль полоснула так резко, что показалось, будто из глаз искры посыпались. Как потом выяснилось, я вывихнул ногу в щиколотке.

Преодолевая боль, стиснув зубы, я кое-как спустился с дерева и, прихрамывая, отправился искать других десантников. Мы спустились на склон горы — в густой сосновый лес. С помощью условленных знаков нашли друг друга, собрались в одном месте...

Судя по сведениям, добытым нашей разведкой заранее, в пяти-шести верстах от места приземления, у подножия горы, находился важный в военном отношении железнодорожный узел. Одно из наших заданий было связано с этим железнодорожным узлом. Но вначале, перед самой операцией, нам необходимо было войти в контакт с действовавшими где-то в горах чешскими партизанами. Решили, не теряя времени, сразу же заняться поисками. А как мне идти? Попробовал было, да куда там! Опять посыпались искры из глаз, так что товарищам пришлось подхватить меня с обеих сторон и тащить за собой. Нет ничего труднее, чем идти ночью по незнакомому месту. То наталкиваешься на густые кустарники, то по оврагам чуть ли не катишься, то натыкаешься на какие-то нагромождения камней, и приходится обходить их. А тут еще я со своим вывихом! Было и обидно, и стыдно мне, командиру, что стал обузой для отряда. Надо было как можно скорее и как можно дальше уйти от места приземления, замести следы, а я еле-еле двигался.

Когда прошел примерно час, впереди в темноте послышался лай собак. Мы остановились. Я отправил Ладислава вперед. Он скоро вернулся и сказал, что там, у подножья горы, небольшая деревенька. Решили взять левее, мимо нее. А меж тем сквозь ветви сосен небо уже побелело, звезды начали меркнуть.

Свернув налево и пройдя еще с километр, мы увидели что-то громадное, как скала, возвышавшееся перед нами. «Скала» оказалась каким-то полуразрушенным дворцом. Ладислав и Сало опять пошли вперед, вернулись, доложили, что в нем никого нет. Обсудили ситуацию и решили до вечера спрятаться во дворце, отдохнуть, прийти в себя.

Это был старинный готической архитектуры и действительно совершенно заброшенный дворец. Потом мы узнали, что в середине прошлого века им владел какой-то граф, и об его

мрачном особняке ходило много легенд. Через проломы в стенах и перегородах мы пробрались в подвал, похожий на темную холодную пещеру, прошли по узким сырым коридорам и по разрушенным ступеням поднялись вверх. Дмитрий Михайлович и Ладислав поддерживали меня, я ковылял, стиснув зубы и сдерживая крик боли. Наконец остановились в какой-то мрачной комнате под самым чердаком. Тут Оля нашла какие-то дощечки и крепко перевязала мне ногу.

Ладислав поднялся на чердак — понаблюдать за окрестностями: к тому времени уже совсем рассвело. Оставался он там недолго.

— Немцы! Приближаются с той же стороны, откуда и мы пришли.

— Сколько?

— Человек двадцать...

Что было делать?

— Дмитрий Михайлович! — сказал я. — Командовать отрядом поручаю тебе! Немедленно выбирайтесь из дворца — тем же ходом, через подвал — и в лес!

Сало посмотрел на мою ногу.

— А если примем бой тут?

— Старшина Сало! Выполняй приказание!.. До свидания, друзья!

Солдаты быстро бросились вниз по ступеням. Одна Оля да еще старшина остались стоять. Побледнев, Оля просительно заговорила:

— Товарищ старший лейтенант! Разрешите, я останусь с вами...

— Младший лейтенант Куприянова! Выполняйте приказание! — Я повысил голос.

Оля опустила глаза и, кусая губы, тихо повторила:

— Я останусь здесь, если даже... расстреляете...

В разговор вмешался старшина:

— Ладно, товарищ старший лейтенант, пусть она останется с вами. С рацией сами справимся. — И, сбегая по ступенькам, добавил, показав рукой вверх: — На чердак залезайте. На чердак!

Я подождал, пока он скрылся, и обернулся к Оле. Она почему-то смутилась.

— Товарищ старший лейтенант! Ведь я же... медсестра...

— Ладно. А ну, залезай на чердак.

Я подставил плечо. Оля встала на него, ловко, как кошка, перебралась на чердак и протянула мне оттуда ремень. С ее помощью я дотянулся до края стены и перевалился через него.

Чердак был захламлен всяким старьем: тряпками, обрывками бумаги, какими-то медными люстрами, разбитыми шкатулками и невесть еще чем. Вокруг нас — полумрак, и если бы не отверстие под крышей, на чердаке была бы полная тьма.

Я только подумал про это, как где-то внизу застучали автоматные очереди. «Неужели наших заметили?» Подложив

под ноги какие-то банки, ящички, шкатулки и балансируя на этой шаткой подпорке здоровой ногой, я приник к отверстию. Перед моими глазами мелькнули — словно вот они, рядом — чистые снеговые вершины с зелеными елками. Внизу, под дворцом, на противоположной от нас стороне какой-то речушки зеленел густой ельник. Немцы, стреляя из автоматов, бежали к ельнику, но наших не было видно, — значит, они успели скрыться в лесу.

Я вздохнул облегченно, будто гора с плеч свалилась. Соскочил со своего сооружения из банок и ящичков, оно тут же рассыпалось, но его шум перекрыли другие, более громкие звуки. Где-то внутри дворца раздался взрыв ручной гранаты, и гулкое эхо отозвалось в пустых помещениях. Совсем близко затрещали автоматы, послышались нервные крики. И здесь немцы! Хотят обыскать дворец!

«Надо закрыть отверстие!» — осенило меня.

— Оля! Давай сюда тряпки, доски, все, что есть, давай.

Я пригнулся. Оля встала мне на спину, и мы кое-как прикрыли отверстие. Потом в темноте мы перебрались за каменную печную трубу в углу чердака. Внизу еще дважды рвались гранаты, сотрясая старые, словно гнилые зубы, стены. Обычная манера немецких солдат; прежде чем войти в незнакомое место, швырнуть туда пару гранат.

Через несколько минут послышались грузные шаги кованых сапог по ступенькам, и тут же раздалась автоматная очередь... Страха не было, я опасался только одного: собак. Если с ними собаки, тогда нам конец.

Нет, ни лая, ни рычания слышно не было. Я быстро глянул на Олю: «Не бойся, Оленька». Она прижалась к моему плечу и так же, как я, приготовилась... «Тихо!» Даже в темноте блестели ее глаза. «Я не боюсь», — говорили они.

В комнате, которую мы недавно покинули, загрохотало — ручной пулемет. Со стен посыпалась штукатурка, обломки кирпичей. Затем над лестницей показалась голова в каске. Немец на чердак не полез. Он осмотрелся, повернулся к своим: мол, никого нет.

Я знал немецкий, конечно, не так хорошо, как Оля, но догадывался, что они там говорят.

— Убежище дьявола! — сказала голова в каске.

— Швырни гранату, — посоветовал кто-то, стоявший внизу.

— Нет больше гранат. У тебя есть?

— Одна. Сейчас...

Я почувствовал, как по плечам Оли пробежала дрожь. Я взял ее руку в свою. Девушка припала головой к моему виску...

Внизу что-то громыхнуло, упало на пол.

— О, черт! — выругался немец. — С запалом что-то случилось. Да ты стрельни из автомата во все стороны и залезай, ничего не случится.

Шальные пули срикошетили и в нашу печную трубу, мелкие кирпичные осколки брызнули фонтаном. Мы затаили дыхание.

Немец поднялся наконец в комнату. За ним показалась еще одна голова в каске.

— Э, да тут еще чердак. Ну, на него теперь полезешь ты!

— Почему я?

— Твоя очередь.

— А ты что — дрожишь? Заглянуть ведь только.

— Если ты не дрожишь, загляни сам!

— Не тяни волюнку. А то как дам прикладом по заднице, так быстро отправишься в преисподнюю!.. А ну, лезь, говорю тебе, молокосос.

Немец, стоявший внизу на ступеньках, выругался; «молоко-сос» бесприцельно выстрелил в потолок чердака, подошел к стене, резко подтянулся на руках и на животе вполз к нам. Встал на ноги, огляделся.

— Кто тут есть? Не хочешь сдохнуть, выходи.

Наши глаза уже привыкли к темноте. Мы видели все. Вот он, в двух шагах от нас, немецкий солдат. Это длинный, худющий, как жердь, паренек: не больше девятнадцати—двадцати лет. Боязливо замер, будто прислушивается к чему-то. Поднял голову, осмотрел потолок и заметил пробивающийся сквозь щель светлый лучик. Взмахнув автоматом, он выбил тряпье, люстру, все то, чем мы заткнули отверстие. На чердаке сразу стало светло.

Солдат пинком отшвырнул люстру, которая с дребезжанием отлетела в сторону, повернулся лицом к углу — и увидел дула двух автоматов, направленных прямо на него из-за печной трубы.

— Ну, что ты там умолк? Золото, что ли, нашел? — закричал немец внизу. Скопив глаза, я отметил, что он так и не поднялся в комнату. Не снимая палец правой руки со спускового крючка автомата, левую руку я приложил к губам: «Молчать!»

Солдат-«молокосос», вытаращив синие, удивительно чистые, совсем невинные глаза, стоял остолбенело, как вкопанный.

— Жив ты там или помер?

Солдат испуганно вздрогнул:

— А? Да, да, жив... Я тут... Сейчас...

Я сделал ему знак: «Проваливай, откуда пришел!»

Парень покорно закивал головой, затем неожиданно улыбнулся, показав молодые крепкие зубы.

— Да ну тебя к черту! Что ты там нашел?

— Мешок золота. Хочешь, поделюсь... Залезай-ка сюда! — «Молокосос», все кивая и кивая головой, начал осторожно пятиться к краю чердака.

— Еще чего захотел, буду я там мараться! — крикнули снизу.

«Если только пикнешь — смотри...» Я вышел из-за трубы. Солдат опустил ноги с края чердака, еще раз, блеснув зубами,

кивнул — понятно, мол, — прыгнул вниз. «Как бы эта сволочь не натворила бед!» — подумал я.

Но нет, через мгновение оба солдата загромыхали по лестнице, спускаясь вниз. Я взглянул на Олю. Она глубоко вздохнула, будто сильно уставший человек, и, закрыв глаза, тихо всхлипнула. Она вдруг показалась мне маленькой, перепуганной девочкой. Поправив ей волосы, я обнял ее за плечи, прижал к себе...»

16

На этом месте комбат прервал свой рассказ: его вызвали в штаб полка.

Через две недели при других тяжелых обстоятельствах в руки мне попала толстая тетрадь в черной коленкоровой обложке. Перелистывая ее, я вдруг наткнулся на следующие строчки:

«Вчера пришел старший лейтенант из военной прокуратуры. Кто-то написал на меня грязный донос. Ногаев? Не знаю точно. Сотрудник прокуратуры, конечно, не сказал мне, кто. Будто гибель Оли была не случайной. Будто я сожительствовал с ней и теперь, чтобы отвязаться от нее, чуть ли не сам толкнул на гибель... И еще много такого же — волосы становятся дыбом...»

Написать все это может или полный идиот, или самый последний подлец. И обидно не то, что кто-то мог написать все это (мало ли на свете подлецов?), нет, обидно то, что эту гадость всерьез проверяют, а стало быть, верят, что такое с моей стороны возможно.

Я ни на миг не сомневаюсь, что правда и в этом случае победит. Другая мысль причиняет нестерпимую боль: мне кажется, что чувства Оли ко мне были гораздо серьезней, чем я предполагал. Оля пыталась скрывать это. Она была очень гордой девушкой. Но все-таки временами сила ее чувства прорывалась. А я... Люблю ли я ее так же сильно? Любил ли?.. Нет, я не ханжа. Чего только не приходилось видеть за четыре года войны! И величие души, и страдания, и грязь. Я узнал, какие разные бывают женщины. Но Оля... Обмануть такую девушку, воспользоваться ее молодостью, неопытностью, а потом бросить — этого я не мог и на минуту себе представить. Я потянулся к ней и полюбил ее. Так ли, чтобы моя любовь была достойна ее? Не знаю! Она была особенная. Она была человеком такой душевной чистоты, что даже за четыре долгих, нелегких, порою жестоких, года войны не потеряла высокой красоты души... Но если б в Оле не пробудилось это чувство, она еще летом демобилизовалась бы из армии, не поехала бы в эти далекие края. Тогда не случилось бы и этой трагедии! Каждый раз, когда я думаю об этом... становится страшно. Я виноват, виноват во всем...»

...Повторяю, я прочитал эти строчки из толстой черной тетради комбата недели через две после его рассказа, прочитал при тяжелых обстоятельствах, о которых речь еще впереди. А в тот вечер, когда приходил следователь, Даврон-ака не говорил мне о доносе. Он рассказал мне только о том, что пришлось пережить им с Олей в тылу врага. И я снова горел от стыда за свою дурацкую вспышку там, в степи, вспышку, которая еще подлила масла в огонь переживаний этого человека — и без того мучительных и острых.

Написав «объяснение», я отдал его начальнику штаба батальона и ушел к себе в роту, не дождавшись возвращения комбата.

17

Прошло еще несколько дней.

Снова однажды сквозь сон услышал беспорядочную стрельбу из пулеметов и автоматов. «Тревога? Бой?» — подумал я, продолжая какое-то время лежать, не в силах сразу разомкнуть веки.

Всю ночь перед этим мы шли без отдыха, почти без остановок. И так целую неделю: чтобы не отстать от опередивших нас танковых частей, мы двигались днем и ночью, делая по семьдесят — восемьдесят километров за сутки.

Особенно тяжелыми были последние две ночи. Но эта стрельба... Нет, что-то не похоже на тревогу.

Я с трудом открыл глаза. Пулеметы и автоматы строчили где-то близко; трассирующие пули прорезали небо, оставляя за собой голубые и красные следы.

«Что это за стрельба? Неужели... конец...»

От внезапной догадки учащенно забилось сердце. Я хотел было встать, но тут услышал рядом с собой голос комбата:

— Не буди его, Вася, пусть поспит!

— Неужели и впрямь кончилась, товарищ капитан? — будто за меня, спросил Вася.

— Слышишь же, салютуют!

— Что-то не верится, товарищ капитан! Уж очень быстро все кончилось!

Капитан засмеялся.

— Для того мы и перенесли столько тягот в пустыне Гоби и в горах Хингана, чтобы побыстрее покончить с войной. Сам же видел, сколько танков и артиллерии было с нами!

— Теперь домой, товарищ капитан?

— Конечно, домой.

Голоса пропали. Наверное, капитан и Вася зашли за студебеккер. Я хотел встать, подойти к ним, но волною нахлынули на меня мысли, воспоминания, какие-то неясные и сладкие образы. Я опять закрыл глаза. «Кончилась война. Теперь вернемся домой, в Карасув!..»

Проснулся я снова от чьего-то разговора поблизости. Было все еще темно, в небе горели звезды, а на земле костер. Около костра с кружками в руках стояли комбат и старшина Сало.

— Ладно, не мучайтесь так, товарищ комбат. Война ведь!..

— Да, война! — тяжело вздохнул комбат. — За неделю до конца войны!.. Такую девушку не уберегли!

— Будет вам, товарищ капитан. Слезами горю не поможешь... Не вернешь Оленьку. Дай бог, чтобы больше не было войны. За победу!

— За победу!

Послышался звук стукнувшихся кружек, потом поцелуй.

— Ну, пойду я, отдохайте, товарищ капитан.

— Спасибо, Дмитрий Михайлович..

Даврон-ака подождал, пока стихли шаги старшины, затем прилег около костра и вытащил из планшета знакомую мне тетрадь.

Минуту поколебавшись, я тихо поднялся со своего места.

От близости гор ночь была прохладной, сыроватой. Солдаты спали повзводно, поотделенно, тесно прижавшись друг к другу, а издали доносились песни.

Капитан, скрестив ноги, сидел на разостланной по земле плащ-палатке. Рядом посапывал Вася.

— Товарищ комбат! Поздравляю с победой!

— А, Мансурбек! — Капитан подвинулся, освобождая и мне местечко на плащ-палатке. — Я думал, ты спишь. Слышал, значит?

— Слышал, товарищ комбат. Но тоже, как Вася, не могу поверить.

— Утром поверишь, когда начнется настоящий праздник.

— А потом и вправду вернемся в родные края?

— Конечно!

— Снова по той же дороге?

— Зачем же? Несколько дней будем тут отдыхать, потом пойдем через вон те горы, которые ты видел днем! — Комбат улыбнулся. — Не бойся, хинганские мученья теперь не вернуться. Всего тут километров сто — сто пятьдесят. Пройдем их не торопясь, вразвалочку, выйдем к железной дороге, сядем в поезда и — махнем в родные края. В Узбекистан, в Карасув! Соскучился по Карасуву?

— Как же не соскучиться, товарищ капитан?

— Да... Все стосковались по родному дому. Саломат вот написала такое письмо, что... — Газиев не договорил, плотно сжал губы.

Саломатхон! Он сам первый вспомнил о ней.

— Товарищ капитан!..

Комбат снова невесело усмехнулся.

— Хочешь знать, как я украл ее? — вдруг развязно, как это бывает у человека, когда он навеселе, спросил Даврон-ака. — Хочешь?.. Да не крал я, а, наоборот выручил тогда вашу Саломат-

хон, спас, можно сказать, от тех, кто ее хотел украсть! Не веришь? Или считаешь, что в Карасуве нет таких негодяев?

Я вспомнил понурых парней в чайхане и мельника, который проклинал их тогда сквозь слезы, текущие по его морщинам.

— Да, брат. Из-за вашей Саломатхон я и в тюрьме побывал... Или, думаешь, легко было вырвать Саломат из рук твоих однокишлячников? — Глаза его при свете костра сверкнули. — Выпьем по маленькой? — вдруг предложил капитан.

— Выпьем! — сказал я.

18

— А сколько тебе лет, Мансурбек?

— Восемнадцать, товарищ капитан.

— Значит, ты еще не знаешь, что такое любовь! — С комбата в конце концов спало напряжение. — А твой покорный слуга, Мансурбек, в далекие времена, когда ты изволил пешком под стол путешествовать, только что закончил институт и работал в молодежной газете. Литературным сотрудником в отделе культуры! Не шутка, а? День и ночь сей литературный сотрудник рыскал по всему городу, приносил пятнадцать строк информации, и если их пускали на газетную полосу, то ходил он гордый-прегордый, будто сотворил величайший роман. Однажды один из наших внештатных корреспондентов сообщил: студентки женского педтехникума ставят «Проделки Майсары»¹. В роли Майсары выступает студентка по имени Саломат. Играет, мол, блестяще... Услышав про Саломат, я насторожился. Неделю назад из техникума пришла в редакцию девушка с таким именем, принесла несколько стихотворений. Одно из них было даже напечатано. Девушку я видел еще раз, и, понимаешь ли... — Даврон-ака почесал затылок. — Улыбаешься? Значит, понял?.. Словом, я знал Саломатхон, но о спектакле она мне не говорила... В тот день была, оказывается, премьера...

В маленьком зале женского педтехникума яблоку негде упасть. Зал до отказа набит молоденькими студентками и женщинами, только что сбросившими паранджу (ведь пьеса-то именно о таких женщинах, ты знаешь). Все было готово, можно вроде и начинать, но... не было, как выяснилось, главной героини. Спектакль должен начаться в шесть, часы пробили уже семь, а Саломатхон все нет и нет. Я, как представитель печати, прохожу за сцену. Вижу, все волнуются, перешептываются. Спрашиваю режиссера: в чем дело? Он отвечает — вот, мол, в сельскохозяйственном техникуме учатся несколько парней из того же кишлака, что и Саломат. Они были против ее участия в спектакле. Не предприняли ли они что-нибудь против девушки?.. Несколько человек пошли к Саломатхон. Пошел и я.

¹ «Проделки Майсары» — комедия народного поэта, драматурга, общественного деятеля Хамзы Хакимзаде Ниязи (1889—1929).

Оказывается, Саломат жила не в общежитии, а с двумя подругами на частной квартире в одном из тесных переулков Шайхантаура¹. Саломат не было и дома. Судя по словам хозяйки, она ушла еще утром и не возвращалась. Может быть, она все-таки в техникуме? Вернулись обратно. Нет ее! Спектакль отменили. Режиссер поехал в сельскохозяйственный техникум.

Я жил за вокзалом, в районе так называемого «Тезикового базара». Расстроенный, я не стал садиться в трамвай и пошел пешком. На остановке «Пиянбазар», смотрю, много народу. Я намеревался было топтать дальше, как вдруг в подошедшем трамвае мелькнуло лицо Саломат. Я — на переднюю площадку, с трудом пробираюсь внутрь трамвая. Гляжу — точно. Саломатхон. В простом ситцевом платье, с чемоданчиком в руке стоит на задней площадке. Окружили ее четверо франтовато одетых джигитов, она от них отвернулась, смотрит через стекло на улицу, но видно, что с ней рядом — не случайные попутчики.

Я протиснулся поближе к ней.

— Здравствуйте, Саломатхон!

Саломат быстро обернулась, узнала меня и как будто смешалась; лицо, смотрю, заплаканное.

— Почему на спектакль не пришли? Что с вами, Саломатхон?

Молчит Саломат. Я хотел подойти к ней, но высокий чернолицый парень, стоявший рядом... Не знаешь его? С золотым зубом во рту? Здоровый, плечистый такой...

(«Был такой в чайхане? Вроде нет, не помню...»)

— Не знаешь? Жаль... Но он из вашего кишлака, это точно. Хашимом его зовут. Хашим Халматов... Словом, парень этот преградил мне дорогу и процедил сквозь зубы:

— Слушай-ка, друг. Какое тебе дело, пришла Саломатхон на спектакль или нет? Проваливай, если жить не надоело!

И приятели его насупились, готовы к драке. Саломат проглотила слезы и сделала мне знак: лучше, мол, не связываться с ним...

В те времена красивые девушки с открытыми лицами нечасто встречались даже в городских людных местах. Вот мужчины стоят и глядят на Саломат, догадываются, что замышляется что-то недоброе. Но союзников мне, вижу, тут не будет.

Я отодвинулся в сторону, решил выждать. Когда трамвай подходил к привокзальной площади, чернолицый взял чемодан из рук Саломат и кивнул, мол, «выходи!».

Саломат смятенно взглянула на меня и, снова проглотив слезы, стала пробираться к выходу из вагона. Вслед за Саломат вышел чернолицый с золотым зубом, за ним его приятели.

«Они насильно увозят Саломат! Что делать? Искать милиционера? Кричать о помощи?» Я прыгнул вслед за ними.

— Саломатхон, подождите. Мне надо поговорить с вами...

Чернолицый парень, побледнев от ярости, подошел ко мне. Размахнулся. Ударил меня в лицо с такой силой, что я полетел на землю. Все, что дальше случилось, заняло одно мгновение.

¹ Шайхантаур — район в старой части Ташкента.

Помню, что чернолицый хотел ударить меня еще раз, ногой, обутой в здоровенный сапог, но я, изловчившись, пнул его ногой в живот. Тут дружки его подскочили. Стукнули меня по голове. На секунду я потерял сознание. А когда пришел в себя, вижу: чернолицый лежит на трамвайных рельсах, глаза его закрыты, изо рта струйкой течет кровь! Быстро собралась толпа. Два милиционера скрутили мне руки. Саломат плакала, что-то объясняла им. Но никто ее не слушал, все были заняты Хашимом, которого рвало кровью. Тут с воем примчались две машины. В одну положили почти бесчувственного Хашима — в больницу повезли, а в другую втолкнули меня — в милицию... Вот так и угодил в тюрьму твой покорный слуга...

19

— Почему вас посадили? Никто не сказал правду?

— Да как тебе сказать... — Комбат подбросил хворост в костер, едко усмехнулся. — Когда Хашим упал, он, оказывается, стукнулся головой о рельсы, потом два месяца пролежал в больнице. Это ведь тоже правда... А я был так уверен в своей правоте, что с первого дня вступил в пререкания со следователем. И все пошло скверно.

— А Саломатхон?

— От Саломатхон, от того, как она поведет себя, не испугается ли, все зависело. Ведь она осталась в окружении дружков Хашима... Был выходной день. Я лежал на нарах, мысленно продолжал препираться со следователем. Приносят передачу, завернутую в скатерку. Развернул дастархан: лаган плова, накрытый большой лепешкой. Разломил лепешку на две части и вижу: записка. От Саломатхон! Начинается словами: «Из-за меня вы попали в беду, простите меня...» А в конце спрашивает совета: «Я боюсь, вас не выпустят, пока этот басмач не встанет на ноги. Подскажите, что мне делать, куда идти, к кому обратиться?»

На обратной стороне записки я нацарапал, чтобы она сходила в редакцию и поговорила с нашим редактором, и вернул записку вместе с дастарханом и хлебом — мол, отдайте тому, кто принес, ничего от нее не беру.

И как раз в те дни до нас дошла страшная весть: «Война. Гитлер напал!» Я тут же написал заявление с просьбой отправить меня на фронт добровольцем. Но прошла еще неделя, а меня все держат, на заявление не отвечают.

В следующее воскресенье снова принесли передачу. Снова блюдо плова, с пловом два больших яблока и разломанная пополам лепешка. «Неужели обнаружили записку Саломатхон?»

Взял яблоко, понюхал. Яблоко очень ароматное, бело-розовое, величиной с пиалу. Как потом узнал, оно было из вашего Карасува, называется «дастор-алма»¹. Так я говорю?

¹ Яблоко-чалма.

— Так точно, товарищ капитан! — На миг перед глазами возникла арба, теплый летний вечер в степи. Я вспомнил пропитанное запахом базилики яблоко, протянутое мне певуньей Саломатхон.

— У второго яблока был длинный отросточек, — продолжал капитан. — Я взялся за него, отросток оторвался, и в узеньком отверстии я увидел скатанную в комочек бумажку. Записка Саломат... «Я сделала все, что вы сказали, встретилась с редактором, он сказал, что поможет. Но все равно я сегодня-завтра пойду к товарищу Ахунбабаеву...»

Комбат посмотрел на меня. Его глаза хмельно сияли, на губах играла восторженная улыбка.

— Когда я вышел на свободу, Саломатхон рассказала, как она попала к Ахунбабаеву, Председателю Верховного Совета... Она пошла раз — не пустили, второй раз пошла — снова не пустили. «Занят председатель. Война идет, девушка». Если есть жалоба, говорят, оставь в секретариате. Пришла третий раз и видит, что женщинам с открытыми лицами куда трудней попасть к президенту, чем женщинам в паранджах. Эти поджидают Ахунбабаева у ворот и, как только он появляется, с громкими рыданиями бросаются к нему. На четвертый день рано утром Саломат тоже пошла на «прием», закутавшись в паранджу своей квартирной хозяйки. Стала ждать Ахунбабаева у ворот. И когда появилась его машина, Саломат с плачем бросилась к нему. Председатель остановился и со словами: «Не плачь, доченька, не плачь, сейчас разберемся», — повел к себе. В кабинете Саломат сняла покрывало и выложила начистоту всю историю. Председатель долго хохотал над ее прачкой, потом поручил кому-то заняться моим делом.

Не знаю, насколько помогло вмешательство Ахунбабаева, но, видно, помогло; началось новое дознание, и уже через несколько дней меня выпустили на белый свет, и я увидел солнце!.. — Комбат опять хмельно засмеялся. — Я говорю про солнце не на небе, а на земле!.. Сменил я одежду, получил документы, выхожу за ворота, гляжу, на улице с букетом цветов ждет меня Саломатхон! А сама слез не может удержать...

Ну, подал я еще раз заявление, чтобы на фронт меня отравили, а Саломатхон отвез в Фергану; мы договорились, что до возвращения с фронта она будет жить у нас в кишлаке с моей матерью. Кто тогда думал, что война продлится так долго? Казалось, что она продлится два-три месяца от силы... Вот так я похитил вашу Саломатхон.

— Вон оно как! И после этого больше не виделись с ней?

— Виделись. Еще один раз виделись. — Даврон-ака насупился. Шутливо-хмельное выражение лица словно растаяло.

— Был конец сентября. Нас, молодых лейтенантов, окончивших в Семипалатинске двухмесячные курсы командиров взводов, отправляли — целым эшелонам — на фронт. За два дня до отъезда из Семипалатинска, когда стало известно, что поедем

мы через Алма-Ату и Чимкент, я дал телеграмму Саломат, мол, если сможет, пусть приедет попрощаться на станцию Арысь. До сих пор не могу понять, зачем так жестоко поступил, не подумал, как тяжело молодой женщине добираться по военным дорогам из Ферганы в Арысь!.. Наш эшелон прибыл в Арысь к вечеру, когда уже начало темнеть. Стою у открытой двери вагона, гляжу во все глаза. На перроне людей мало, в основном солдаты да милиционеры. Саломат вместе с мамой я увидел, когда вагон наш поравнялся с перроном. Они стояли у почтового окошка и что-то горячо доказывали милиционеру,— просили, видно, пропустить их на перрон. Саломат увидела меня, когда эшелон остановился. Я спрыгнул вниз. С узелком в руках, с развевающимися волосами, спотыкаясь на ровном перроне, Саломат добежала до вагона и повисла на моей шее почти без чувств. А мама все рвалась, но ее не пускали... Я хотел успокоить Саломат, хотел было побежать к матери, но тут загромыхали вагоны. Эшелон дернулся... Ты знаешь, что значит отстать от эшелона во время войны! А тут Саломат увидела, что эшелон трогается, и снова повисла на мне, не отпускает, не слушает, что я говорю ей. А уже приближается последний вагон... Я в отчаянии вывернулся из ее объятий и побежал к своему вагону. Ребята подхватили меня, когда я впрыгнул на подножку...

Комбат поморщился, как от зубной боли.

— До сих пор не могу простить себе... зачем я их вызвал? Как вспомню...— Он не договорил, махнул рукой.

— А потом, товарищ капитан? — осторожно спросил я.

— Потом?... Потом фронт. Госпиталь. Снова фронт... Последние два года служил в десантных частях.

— Поэтому от вас не было писем целый год?

— Да. Я написал домой после того, как мы вышли из вражеского тыла к нашим войскам. Ну, я тебе рассказывал о нашей чешской операции... Через месяц получаю ответ: Саломатхон из Ферганы уехала к вам в Карасув. У нас в кишлаке разные сплетни о ней ходят... Я тут же написал ей. Но еще до ее ответа выехали сюда...

Даврон-ака приподнялся, сел прямо. Костер бросал блики на его загорелое, будто медное, лицо. В сузившихся глазах Газиева запеклись тоска и недоумение.

— Ведь вы получили письмо от Саломатхон?

— Получил... Ногаев принес. Ночью. У монастыря...

Я вспомнил ту светлую, звездную ночь, надрывное объяснение Ногаева, печальные глаза Оли. Комбат, видно, тоже вспомнил эту ночь. Его лицо снова стало замкнутым, строгим.

Неожиданно из-за студебеккера появился старший лейтенант Харитонов. Ворот гимнастерки расстегнут, глаза блестят какой-то пьяной решимостью.

— Товарищ капитан.— Широко расставив ноги, Харитонов встал около костра.— Что, собственно, происходит? Почему вы все скрываете от нас?

— Что я скрываю? — Комбат неторопливо поднялся, одернул гимнастерку, поправил ремень.

— Там пришел этот... высокий здоровяк, такой плотный... Из военной прокуратуры, говорит. Вас спрашивает.

— Где он?

— Там сидит. — Харитонов махнул рукой в сторону реки. — Что случилось, товарищ капитан? В День Победы не дают покоя... Если что, разрешите нам поговорить с ним!

— Что такое?! — резко перебил комбат. — Застегнись!

— Простите, товарищ капитан!

Комбат исподлобья взглянул на меня, потом обернулся к Харитонову и с неожиданной теплотой в голосе сказал:

— Не говорил вам потому, что все это грязно. Гадко... Ногаев разболтал... Будто я с Олей... ну, сожительствовал, что ли. А потом, чтобы отвязаться от нее, чуть ли не нарочно подтолкнул ее на гибель...

— Как в такую чушь можно верить?..

— Да еще... помнишь, в степи, я отобрал две машины ПФС, и мы с Ногаевым попетушились?

— Ну!

— Он потом приводил заместителя командира полка по тылу. И мы снова сцепились. В сердцах я сказал, что солдаты дороже машин ПФС. Что наши люди заслуживают большей заботы, ну, и еще что-то в этом роде...

— Так что?

— А то, что Ногаев сочинил, будто я говорил — нет у нас заботы о людях... Что я высказался чуть ли не против стратегического плана Верховного командования, и все такое прочее.

Харитонов поморщился.

— Да как он смел, подлец!.. А вы бы написали командиру полка, товарищ капитан.

— Написал, да вот, видишь, пока не оставляют в покое... Ну да ладно, пойдем, Саша... — Тяжело вздохнув, комбат взял Харитонova под руку, и они пошли вниз, к реке.

Не в силах сидеть на месте, я тоже встал.

Уже рассвело, сквозь утренний прозрачный туман просматривались далекие горы...

«Пройдем через эти горы, выйдем к железной дороге. А там... родная страна, Узбекистан, Карасув!» Ну, куда я сейчас пойду? Да и можно ли идти? Не подождать ли здесь? Ведь следователь вызывает и меня.

Но на этот раз следователь меня не вызвал.

Минуло дней десять.

Перед заходом солнца мы остановились в широкой долине, окруженной высокими горами. Это была совсем другая долина, непохожая на те, что остались за нами, — вся в яблоневых

садах по склонам, с веселыми, словно игрушечными, домиками, крытыми причудливо изогнутыми красно-розовыми черепичными скатами. По правую сторону от нас возвышалась пагода, она горела в лучах заката и казалась высеченной из единого каменного монолита.

Мы остановились, и сразу же долина наполнилась полуголыми детишками. Сверкая глазенками-бусинками, они протягивали к нам руки с оттопыренными большими пальцами и беспрерывно кричали:

— Шанго! ¹ Руси солдат, шанго!

Вслед за детьми явились какие-то маленькие старушонки со сморщенными, будто сушеный персик, лицами, и важные, хотя согбенно-дряхлые, старики. Эти дымили длинными камышовыми трубками, молчали, настороженно и величаво наблюдали за нами. Худые крестьяне с загорелыми дочерна лицами улыбались из-под широких плоских соломенных шляп и тоже приговаривали: «Шанго! Руси солдат, шанго!..» Женщин и девушек видно не было.

Вскоре долину залил прозрачный легкий туман; над яблоневыми садами заструились дымки очагов, ветер принес горьковатый, с детства знакомый запах горящего кизяка. На мгновение показалось, что я не в далекой Маньчжурии, а в своем кишлаке, и в душу опять хлынула щемящая грусть.

Мы с Васей Колбаскиным, установив штабную палатку, расположились было перед ней поесть, но трапезу нашу прервали старшина Сало и два китайца. Босоногие, по пояс голые крестьяне — у одного я заметил широкий шрам от угла губ до уха — были очень взволнованы.

— Комбат здесь?

Старшина вошел в палатку и через мгновение вышел обратно вместе с комбатом и начальником штаба.

— Я их не очень-то понял, товарищ капитан. Но мне кажется, что они говорят о японцах...— Старшина повернулся к пришедшим и спросил: «Джапон? Да? Джапон?»

Крестьяне дружно закивали:

—Джапон, джапон!

Кивая в сторону пагоды, они стали загибать пальцы на руках и торопливо, захлебываясь, повторяли: «Джапон! Джапон!»

— Их, говорят, много! — сказал начальник штаба. Он также быстро-быстро стал сгибать и разгибать пальцы:

— Много джапон? Вот столько, да? Много?

Крестьяне закивали головами, ребра ладоней они приставляли к горлу.

— Кажется, они говорят, что японцы режут, убивают, — сказал комбат. Нахмутив лоб, он посмотрел на часы, затем на небо. Зарево заката над вершинами гор погасло, и пагоду уже совсем заволокло туманом.

¹ Хорошо!

— Вот что! Сегодня воевать уже поздно. К тому же местности мы не знаем. Главное — не выпустить их оттуда.— Комбат знаками изобразил окружение и восход солнца. Крестьяне, показав желтые зубы, заулыбались, опять закивали согласно: мол, завтра так завтра.

— Но... От этих самураев можно всего ожидать.— Комбат обернулся к начальнику штаба.— Просьба к вам: лично обойдите роты. Усиьте посты. Костры потушить!.. Дмитрий Михайлович, передай Харитонову: пусть тоже проверит все свои посты!

Старшина с крестьянами направился в сторону домиков, начштаба — в роты. Комбат, заложив руки назад, несколько раз молча обошел палатку. Потом медленно пошел вниз, к шумливой горной речушке.

— Что это с ним? — спросил Вася.— И есть не стал...

— Откуда мне знать? Ты его адъютант, ты и должен знать.

— Куда же он пошел? — Перекинув автомат за плечо, Вася зашагал вслед за Газиевым.

«Переживает комбат»,— подумал я. Мы уже больше не разговаривали с ним ни об Оле, ни о Саломатхон, ни о чем другом. Я знал только, что Даврон-ака написал письмо-объяснение полковнику Белобородову и с тех пор стал каким-то задумчивым, вообще малоразговорчивым. За неделю нашего уже мирного марша я ни разу не заметил, чтобы он улыбнулся.

Все вокруг погрузилось в темноту, только вершины гор с обеих сторон долины едва проявлялись на выцветшем небе. Мягкий шум речки лишь подчеркивал какую-то нежилую тишину, будто здесь, в этой окутанной ночью местности не было никакого войска. Лежа под шинелью, я чутко вслушивался в эту тишину, взглядываясь в сторону речки. Никого!.. Чтобы заглушить тревогу, я завернулся в шинель и вскоре задремал.

Проснулся мгновенно. Голос Арслана? Во сне это или наяву? Нет, наяву. Около палатки, окружив комбата, стояло несколько человек. Арслан сыпал скороговоркой:

— Мы напали на их след вчера вечером. Человек триста будет. Не меньше, товарищ капитан. И все офицеры.

— Вооруженные?

— Еще как! У большинства автоматы. Есть и пулеметы.

— А как вы узнали, что они намереваются взорвать мост?

— Это наш лейтенант предполагает.

В разговор вмешался еще один солдат.

— Напротив моста, на краю города — склады продовольствия и оружия. Видно, они не на мост, а на эти склады нацеливаются. Жрать-то им нечего: за неделю успели разграбить все деревни вокруг!

— Это настоящие самураи! Не капитулировали! — сказал Арслан.

— А комендатура городка? — спросил Газиев.

— Там, наверное, не более взвода, товарищ капитан.

Арслана дополнил тот же солдат:

— Танкисты уже ушли. В городке только медчасть. Человек двадцать раненых и охрана. Из дивизии только ваш батальон близко.

Комбат нетерпеливо кашлянул:

— Дорога хорошая? Не заблудимся в темноте?

— Нет! — решительно сказал Арслан. — Речка выведет. Отсюда до них будет верст семь-восемь от силы.

— Гмм...

Я встал с места и подошел к кружку. Арслан увидел меня и, молча пожав руку, вскочил в седло. Натянул поводья, подбоченился, он всем своим видом показывал: «Я не пехотинец. Я разведчик!»

— Ну хорошо! — Комбат всем корпусом повернулся к начальнику штаба. — Вы с третьей ротой останетесь здесь. Пусть и замполит останется с вами. Утром прочешите местность, китайцы помогут. Будьте осторожны! Чтоб ни одной жертвы. Война кончилась... Я с двумя ротами пойду к мосту. Предупредите людей. Выход через полчаса!

Комбат ушел, а я кинулся к Арслану. Он, как мне показалось, и впрямь словно вырос за время своей службы в разведке, возмужал. Впрочем, важничал он недолго, рассказал все просто и ясно.

По его словам, самураи, на след которых напали разведчики, — из самых преданных императору.

— Одни генералы и офицеры, — почему-то шепотом сообщил мне «лев». — Приказу о капитуляции не подчинились, ушли в горы и грабили китайцев. Почему не капитулировали? Да потому, что жили здесь, сволочи, как цари! У каждого — прямо дворец, роскошные сады. Увидишь, как войдешь в город! Только смотри в оба: каждый второй — камикадзе.

Ровно через полчаса две роты, поднятые по тревоге, вышли в путь. Солдаты спросонья ворчали:

— Что за черт? Опять война?

— Когда ж она кончится?

— Нету покоя и после войны!

Мы двигались — быстро, как позволяла темнота, — вдоль шумливой речушки. Горные склоны то отступали перед нами, и долина становилась тогда неожиданно просторной, то вновь двигались к нам, теснили берег, и тогда вверх оставалась узкая полоска неба, светлевшая крупными белыми звездами.

Вместе с Арсланом и вторым разведчиком комбат поскакал вперед.

— Эх, пехота, пехота... Влачишь ты жалкое существование! — сказал Вася Колбаскин, прислушиваясь к удаляющемуся топоту коней. — Повезло Арслану. Разведчик! Вот жизнь! И себя можно показать, и спотыкаться на своих двоих не надо.

— Если все будут учеными, кто будет пасти овец? — съязвил я.

— Вот ты и паси овец!

Мы вышли из долины. Впереди — подъемы, подъемы. И глухая тишина, будто никакой опасности. В садах изредка твкнет собака или рвкнет осел, ну, точь-в-точь как бывает ночью в наших узбекских кишлаках.

Опять конский топот, а затем раздался голос Арслана:

— Товарищ старший лейтенант!

— Слушаю,— откликнулся Харитонов из темноты.

— Комбат приказал поторопиться. Дорога каждая секунда, товарищ старший лейтенант...

И словно подтверждая его слова, где-то впереди резко затарахтел пулемет.

Харитонов обрадованно скомандовал:

— Автоматы наперевес! Рота! За мной, бегом, марш!

Я бежал рядом с Васей Колбаскиным. Не знаю, почему это вдруг меня охватило какое-то темное предчувствие. Такую тревогу, помню, я испытывал в детстве, среди ночи, когда раздавался крик совы... Пробежали с километр. Не заметили даже, как отступили горы. Потом — стоп! Перед нами — что-то громадное, темное. Ага, это мост. Висячий мост над довольно широкой в этом месте рекой. Стрельба доносилась с той стороны реки, из-за моста.

Когда мы, тяжело дыша, приблизились к мосту, то опять увидели всадников. Из темноты прозвучал властный голос комбата:

— Ведерников!

— Слушаю, товарищ комбат!

— Перейдешь через мост... Самураи напали на продовольственные склады. Их около роты. Два взвода пошлешь на помощь охране. Вот разведчик вас поведет. А с третьим взводом займешь берег и отрежешь противнику путь к мосту... Задача ясна?

— Ясна, товарищ комбат.

— Выполняйте, если ясно!.. Харитонов! Ты будешь на этом берегу. Если самураи бросят своим подмогу выше по реке, преградишь им путь! Арслан! Показывай дорогу!..

Вскоре на противоположном берегу сильнее застрочили пулеметы, автоматы, захохотали разрывы гранат. А мы опять побежали вперед, вдоль берега. Затем послышалось: «Ложись!»

Мы улеглись цепью. Тут река несколько суживалась, камыши поредели, и видна стала темная рябь воды со светлыми полосами струй. Справа от нас круто забирали вверх какие-то скалы, подступавшие к реке...

Со стороны моста послышались грузные шаги. Это комбат и — как он успел? — Вася.

— Харитонов? Ты тут?

— Тут.

— Где лейтенант разведчиков?

В темноте прошуршал взволнованный шепот:

— Потихе, товарищ капитан. Выходят... Видите? Из-за

скалы. На реку посмотрите... Ну, видите теперь? Три лодки. Вон еще две...

Чуть подняв голову, я посмотрел на реку, но ничего не увидел.

— Ну и глаз у тебя, лейтенант, беркут позавидует! — восхитился Газиев. — Их там много? Что «язык»-то показал?

— Если бы их мало было, мы сами справились бы как-нибудь. Там за скалами целая рота у них в запасе.

— И все пойдут к складам?

— Кто их знает? Возможно, и в горы отступят, если почувют засаду.

— Мы не должны допустить, чтобы они улизнули. Крестьянам житья не дадут!.. Они в горах или в ложине?

— В ложине. Верней, в тупике. С трех сторон — скалы.

— Надо сверху ударить! — сказал комбат. — Как думаешь, Харитонов?

Харитонов с радостью поддержал:

— Точно!

— Сделаем вот как... — В голосе комбата зазвучал азарт. — Здесь оставим один взвод... Дмитрий Михайлович!

Старшина Сало бесшумно подполз.

— Ты останешься здесь. Подпустишь этих — видишь, на лодках плывут на подмогу тем, что на складах, — подпустишь и откроешь огонь. Ни одного не пропустить! Напрасных жертв чтоб не было. Понятно?

— Понятно, товарищ комбат!

— Харитонов! Давай команду — поднимемся повыше и пойдем вёрхом к ложине.

— Товарищ комбат, вы оставайтесь, я поведу!

— Поведешь со мной и за мной, ясно? — перебил комбат. — Ну, давай, лейтенант, веди.

Через минуту наш взвод остался один. Старшина тихо приказал продвинуться вперед. Мы поползли по какой-то слякоти, плечами раздвигая камыши, и залегли у самого берега.

Черные точки на середине реки, что появились из-за скал, медленно увеличивались.

— Без команды не стрелять! — Приказ старшины шепотом передали по цепи, справа налево.

Вот лодка прошла мимо меня, поравнялась с третьим отделением слева, вот и следующая. В лодке по три-четыре силуэта, были заметны наклоненные к берегу штыки винтовок.

— Огонь!

Почти тридцать винтовок, автоматов и несколько ручных пулеметов «заработали» одновременно. Лодки, вытянутые в длинном ряду, вдруг остановились, почти вздыбились, как вспугнутые кони, и закачались на вспененной от разрывов реке; несколько человек упало в воду; через секунду и над нашими головами беспорядочно засвистели пули ответной стрельбы.

— Огонь, ребята! — снова глухо приказал старшина.

Самураи, отчаянно орудуя веслами, повернули лодки к другому, противоположному берегу, но и оттуда застрочили пулеметы, полетели гранаты. Две лодки перевернулись у самого берега. Японцы попрыгали в воду, кинулись в камыши.

— Прекратить огонь!

Мы с облегчением вздохнули. Теперь и пошутить можно, перекинуться крепким словечком.

— Вот тебе и смертники, так их растак!

— Смертник смертником, а шкура-то своя дорога...

— Задрожали от такой теплой встречи!

— А что они ерепенятся? Капитуляция так капитуляция!

Все еще томимый неясной тревогой, я чутко прислушивался в темноте. У склада огонь затихал, но на смену ему отдаленно загрохотало у скал. «В долине самураев добивают!» Старшина замер, приподняв голову. Я тоже привстал. Вокруг стало вроде бы светлее. Осколком льда повис в небе лунный серп. Хорошо, стрелять удобнее!

Вдруг послышался конский топот. Кто-то во весь опор мчался оттуда, от скал, где разворачивался бой. Всадник осадил коня. Арслан!

— Кто-нибудь здесь есть из разведчиков?

— Есть! — В темноте возникла тень вставшего во весь рост солдата.

— Арслан! — крикнул старшина. — Что случилось? Окружены самурай?

— Окружены, товарищ старшина... А где наша машина?

— У моста.

— Бегом за машиной, заводи и вверх! Скорей! — хрипло закричал Арслан; он прищпорил было коня, но старшина подскочил, ухватился за поводья:

— Что случилось? Почему не отвечаешь?

— Комбат ранен...

— Что?

— Комбат... говорю... ранен...

— Тяжело?

— Не знаю... Мы их зажали, а какой-то смертник со скалы бросился ему под ноги, с гранатами... Комбата вместе с Васей... — Не договорив, Арслан стегнул коня и помчался к мосту.

Я застыл на месте.

21

В полдень из городка, видневшегося вдали, прискакал Харитонов. Гимнастерка взмокла от пота, русые волосы прилипли ко лбу, глаза смотрят хмуро.

Кинув поводья взмыленного коня первому солдату, бросившемуся навстречу, старший лейтенант подошел к нам:

— Как дела, Дмитрий Михайлович?

— У нас все в порядке. Вы лучше о комбате скажите...

— Состояние комбата тяжелое... Очень тяжелое, Дмитрий Михайлович...— Харитонов исподлобья взглянул на меня.— Комбат тебя спрашивает, Мансур. Готовься. Сейчас поедем... Третья рота прибыла?

— Прибыла.

— Где штаб? Мне начальник штаба нужен.— Харитонов побежал вдоль берега к расположению третьей роты.

Мы с утра нетерпеливо ждали Харитонова: ведь кроме того, что выкрикнул ночью Арслан, о комбате ничего не было известно. Но Харитонов тоже не сказал ничего определенного, и в этой неопределенности чудилось что-то ужасное; даже не хотелось расспрашивать о подробностях.

Старшина молчал долго. Потом вдруг проговорил:

— Из девяти человек десанта нас вернулось тогда только трое. Оля, комбат, я... Все удивлялись, когда он звал меня Дмитрием Михайловичем, а мы с ним как отец и сын...

Его белые усы дрогнули, я отвернулся, стал торопливо рыться в своем вещмешке, будто искал что-то.

Вскоре Харитонов прибежал обратно.

— Как нарочно, машина ушла в город. Вот невезенье. Как же нам быть?

В это время вдали на дороге показалась машина, шедшая к мосту. Харитонов приободрился.

— Не штабной студебеккер?

— Нет, на штабную не похожа,— сказал старшина.

В кузове кто-то стоял, облокотившись на кабину. Мирхайдар! Вот тебе на!

— Товарищ старший лейтенант, это машина ПФС.

— Верно,— подтвердил чуть позже старшина.— Ногаев в кабине, узнаете?

— Останови! — Харитонов, побледнев, пошел навстречу машине.

Мы выбежали на середину дороги.

Мирхайдар, увидев меня, заулыбался во весь рот и, сорвав с головы фуражку, замахал ею в воздухе. Машина остановилась в трех шагах от Харитонова. Ногаев высунул голову из кабины.

— В чем дело?

Он похудел, почернел, зарос кудрявыми волосами. Не кавказец, а цыган!

Харитонов весь подобрался, подошел поближе.

— Дай на полчаса машину, Ногаев, пусть нас подкинут в город.

Тонкие красивые усы Ногаева шевельнулись.

— Я еду вон к тем складам...— Он кивнул на противоположный берег реки, на каменные строения, огороженные высоким забором, там ночью шел бой.— Я должен срочно принять, что там есть. И вообще... Что вы все время пристааете к моим машинам? Своих, что ли, нет?

— Слушай, Ногаев.— Харитонов прижал руки к груди.— В бою за эти склады несколько человек из батальона тяжело ранены...— Старший лейтенант почему-то промолчал о комбате.— Мы должны, понимаешь, должны навесить их.

— Пожалуйста, кто вам мешает. Но...

— Никаких «но»! — Харитонов одним прыжком вскочил на подножку грузовика и схватился за ручку кабины.— Слезай, прошу тебя, слезай, по-хорошему прошу. А то... выкину... Потом... можешь и на меня писать, как и на комбата!

Ногаев спокойно вылез на дорогу. Но прежде чем уступить место Харитонову, сказал дрогнувшим вдруг голосом:

— Если я и написал о вашем комбате, то принципиально!

— Принципиально! — передразнил его Харитонов.— Что ты считаешь принципиальным? Грязные намеки насчет младшего лейтенанта Куприяновой?

— Ты помолчи об этом, Харитонов.— Глаза Ногаева сузились, ноздри большого горбатого носа задрожали.— Я никогда ни одного плохого слова об Оле не произнес... Если хочешь знать... я любил ее.

— Ты? Любил?

— А что?

— Нет! Человек, который любит, не может опуститься до такой низости, до поклепа!

— А он? — неожиданно горячо вскрикнул Ногаев.— А Газиев? О его поступках ты забыл? Как он чуть ли не перед всем полком оскорблял меня, будто последнего пешку-солдата? А как он издевался, заставляя меня извиниться перед Олей... Я ошибся, не за ту ее принял, но это не значит, что меня можно унижать! Нет, прошу прощения, Ногаев никогда не забывает обид, ему нанесенных!

— Так какого же черта болтаешь о высоких принципах? Сказал бы лучше, что клеветал, чтобы отомстить ему!

— Зачем вмешиваешься в то, чего не знаешь? — с обидой в голосе воскликнул Ногаев.— И людей ты не знаешь. Тебя же не было, когда твой любимый комбат выступил против стратегического плана командования, говорил, что у нас наплевали на человека!

— Это комбат-то? Капитан Газиев, который четыре года на фронте без передышки, по колено в крови?...— Харитонов задыхался от ярости.— Ты сколько раз смотрел смерти в глаза, а? Ты хоть знаешь, что такое десант?.. Ты где был, когда мы воевали, мы — пешки, по-твоему, мы — солдаты?! — Сжав кулаки и вобрав голову в плечи, он пошел на Ногаева. Тот, держась левой рукой за борт кузова, а правую выставив защитным жестом вперед, начал отступать:

— Ты не очень-то нажимай на фронтовые заслуги, старший лейтенант! Понятно? Война кончилась. Мирная жизнь началась, мы все в ней равны, несмотря на погоны...

— Тебе не нравится, когда говорят о подвиге? О боевых

заслугах? Ладно! Лишь бы с комбатом что-нибудь не случилось, ну а если случится!.. — Не договорив, Харитонов резко рванул к себе дверцу кабины, кивнул мне: «Залезай в кузов!»

Я птицей взлетел на грузовик. Мирхайдар съезжился, испуганно искривил лицо, не зная видно, то ли слезать ему, то ли нет.

А машина сильно тряхнула нас и рванула с места. Ногаев что-то крикнул Мирхайдару, но мы не расслышали.

Я исподлобья взглянул на земляка. «Верблюды» встряхнулись и, будто ничего не произошло, снова широко заулыбались.

— Удивляюсь этим офицерам! Из-за пустяков клюют друг друга, вот петухи!.. Ну, как дела, браток? Как поживаешь? Жив, значит!

— Как видишь!

— Ну, и слава аллаху! Была бы голова цела. Глянь на меня. Вчера был простой солдат. Обмотки, овсянка, ну и так далее. А нынче? — Не переставая скалить крупные желтоватые зубы, Мирхайдар провел ладонью по тяжелому подбородку, потом разгладил гимнастерку, поправил фуражку на голове.

Действительно, гимнастерки из такого сукна и хромовых удобных сапог не было не то что у Харитонова, но и у комбата! Злость вдруг комком подступила к горлу, мне захотелось, непреодолимо захотелось вышвырнуть его вон! Но надо было сдержаться. Я отвернулся от «землячка».

Мы мчались по шоссе на дороге. По обеим ее сторонам тянулись поля проса и гаоляна. Вдоль реки, в низинах, среди рисовых всходов работали голые по поясу крестьяне. Навстречу нам, запряженные ослами и мулами, катили маленькие двуколки на колесах, обтянутых резиной; на двуколках сидели сморщенные старики и детишки с косичками на бритых головках. При виде машины детишки поднимали восторженные крики.

Ближе к городку мимо нас замелькали маленькие пагоды, руины каких-то древних каменных стен.

Мирхайдар, видно, не чувствовал моего настроения и продолжал «философствовать»:

— Удивляюсь тебе, Мансурбек. Чего ты кичишься, чем важничает? Не послушался совета. А получилось что? Сам себя извел, да и только!.. Вот возьми меня. Ни шагу пешком не сделал.

И степь и пески — все на машине! А почему? Потому, что нашел подход к человеку, сумел расположить его к себе. После взятия Халангана какие только товары не побывали в наших руках!.. Если бы разрешали отправлять посылки, миллионером бы стал, клянусь аллахом!.. Ну, да ничего! Была бы голова цела, а товар найдется... Что ты на это скажешь, браток?

Я снова промолчал — боялся сорваться!

Перед въездом в город мы обогнали колонну самураев, взятых в плен вчера. Они медленно пылили по обочине шоссе. В рванье, заросшие волосами, большинство без шапок и босые, они зло и сумрачно поглядывали на нас.

— Странно! — проговорил Мирхайдар.— Недавно вот такую же колонну мы с хозяином видели. Откуда они берутся? С неба, что ли, попадали?

Я не выдержал:

— Ну да, с неба, с облаков!.. Это смертники, дубина ты! Преданные солдаты императора, отборные вояки, наплевали на капитуляцию и скрывались в горах! Грабили крестьян, потом хотели разграбить склады, которые ты ехал «принять»... На готовенькое приехал, купец! — Я задыхался от ярости, и почему-то слезы выступили на глазах.— Ты что, думаешь, просто было заставить их сложить оружие? Этой ночью они убили нескольких наших. Несколько ранили. Не таких, как ты с Ногаевым, понял?.. Понял, говорю, откуда они появились?

Мирхайдар, шмыгнув носом, чуть испуганно отодвинулся к краю кузова.

— Что же делать, раз война, то не без этого...

— Не без этого! Легко тебе так трепаться!.. Одни оказываются, не жалея жизни, воюют с врагом, другие катаются себе на машинах... А иногда клевету этих бездельников приходится еще опровергать...— Сжав кулаки, я придвинулся к Мирхайдару, он торопливо забормотал:

— Что ты, что ты? Какая клевета?

— Спроси у своего «хозяина».

Стукнуть бы его, разве примешь эту верблюжью шкуру? Руки только пачкать!

Мы въехали в город. Потянулись одноэтажные, почерневшие, будто сажей заляпанные дома под причудливыми черепичными крышами. В узких улочках у многочисленных лавчонок кишел народ. Мирная жизнь! Кончилась война — и открылись лавочки! И — всюду детвора! Узкоглазые, голопузые, с косичками на бритых головах, дети кричали: «Шанго, шанго!» Группки накрашенных, будто куколки, девушек в длинных, до пят, платьях толкали друг друга локотками и, показывая на нас пальцами, смеялись. Безбородые сморщенные старики и облысевшие старухи с мундштуками во рту сидели около лавчонок молча, словно изваяния.

Многолюдные узкие улочки с лепившимися друг к другу домишками будто оборвались — началась часть города, где жили японцы. По-другому выглядели и улицы — мощные, прямые как стрела, и добротные дома с верандами, окрашенными в белые, голубые, розовые и желтые тона. Каждый дом был огорожен зеленой изгородью и елками. Здесь дома и улицы были пустынные, стояла мертвая тишина...

Наконец мы въехали на большую площадь и остановились у решетчатых ворот сада, обнесенного высоким каменным забором. В глаза бросилась знакомая амфибия командира полка.

Даже не кивнув Мирхайдару, я выпрыгнул из кузова. Харитонов показал стоявшему у ворот солдату-часовому свое удостоверение и махнул мне рукой: «Пойдем!»

Чувство щемящей тревоги охватило меня с новой силой, когда мы вошли в сад. От ворот нас повела широкая аллея, с двух сторон обсаженная высокими елями, которые, казалось, только что подстригли и даже вымыли — до того яркой была их зелень. Замыкало аллею красивое двухэтажное здание из желто-золотистого камня, оно тоже блестяло, как вымытое.

Около мраморных ступенек стояли полковник Белобородов и толстый широкоплечий человек в белом халате и белом колпаке. Старший лейтенант и я, отдав честь, остановились неподалеку.

Белобородов искоса взглянул на нас, но разговора с человеком в халате не прервал:

— Знаменитый, говоришь, нейрохирург?

— Знаменитейший!.. Самый известный в армии, товарищ полковник. Лауреат!

— А ты объяснил ему все как следует?

— Объяснил. И он обещал приехать. Но... время-то не ждет, товарищ полковник.

— Вот что... — Белобородов вдруг обратился к Харитонову. — Возьми-ка мою машину — и немедленно в армию! В госпиталь. За нейрохирургом... как его фамилия?

— Левитанус, — сказал белый халат. — Подполковник медицинской службы Левитанус.

— Разыщешь и привезешь. Два часа тебе срока. Хоть из-под земли достанешь и привезешь! Понятно?

22

— Далеко не уходи, солдат, — сказал мне майор в белом халате, проводив Белобородова и Харитонova. — Сейчас к капитану нельзя. Но когда можно будет, позовем.

— А солдат Колбаскин? Его можно увидеть?

— Нет, — сказал майор. — И его нельзя... Впрочем, пойдёмка, узнаем...

Мы поднялись по мраморным ступеням, вошли в широкое фойе первого этажа. Золоченые люстры под потолком, зеркальные ореховые двери, диваны и кресла, обитые желтой кожей, — все здесь сверкало. Будто бедняк, неожиданно попавший в ханский дворец, я оробел, не решаясь ступить на роскошный паркет.

Майор приоткрыл дверь с правой стороны зала:

— Роза Моисеевна!

Появилась болезненно-бледная женщина-капитан.

— Роза Моисеевна! Пришел солдат, которого Газиев просил пустить к нему. Что будем делать? Пустим?

Роза Моисеевна пожала хрупкими плечиками.

— Не знаю... не думаю.

— Сейчас я выясню, как там и что, — сказал майор. — А вы дайте ему халат, пусть зайдет к Колбаскину...

Лицо женщины-капитана удивленно вытянулось, но майор махнул рукой: «Пусть, мол, идет».

Девушка-сестра накинула на меня белый халат и повела в большую, обращенную окнами в сад, комнату. На двух кроватях, поставленных близко друг к другу, лежали два человека: один с перевязанной головой, другой с перевязанной правой рукой, а на третьей кровати — она стояла у окна — лежал... Вася...

Я с трудом узнал его. Лицо его, с кулачок, стало до того бледно-белым, что казалось вылепленной из алебаstra маской. И знаменитый нос торчал точно кусок длинного школьного мела! Только глаза его лихорадочно блестели.

Почувствовав острый укол боли в груди, я остановился посредине палаты.

— Ну, чего испугался, Мансур? Иль не узнаешь? — Вася тихо застонал. Я подошел к нему и сел в кресло рядом с кроватью. Вася дрожал, будто в лихорадке.

— Девушка, милая, водички, — попросил он. — Один глоток!..

Сестра взяла с тумбочки серебристый, с золотой каймой чайник и поднесла к его губам.

— Видишь? — Вася облизнул губы. — Из генеральского чайника пью... Чего глаза прячешь? Плохи дела мои, да? Ничего, брат, ничего... Только полжелудка отрезали. Нельзя, говорят, теперь есть колбасу и сало. Нет, говорю, хоть через мясорубку, но колбасу есть все равно буду...

Даже в таком состоянии Вася оставался Васей! Не зная, как реагировать на его шутку, я уставился в пол.

— Что случилось-то? Гранату швырнули?

— Если бы только одну... Мы их уже окружили, «сдавайтесь», кричим, а один самурай-смертник, сволочь, обвязанный гранатами, как бросится... Его самого — на куски, а нас с капитаном... тоже, видишь, покалечил. — Вася перевел дух и грубо запавшими глазами беспокойно впился мне в лицо.

— Видел комбата?

— Нет еще...

— Эх, Мансур... Комбат! — Вася закрыл глаза. — Такой человек...

— Хватит разговаривать. Нельзя, солдат, — сказала сестра.

Я тихо поднялся, стараясь не смотреть на Колбаскина.

— Я пойду, Вася... Будь здоров...

— И ты будь здоров, Мансур, — сказал Вася, не открывая глаз. — Передай привет ребятам. Если не увидимся, то — прощай, друг...

Спазма перехватила мне горло. Я вышел в коридор и бесильно опустился в кресло, что стояло под лестницей. На ступеньках послышались шаги. Я поднял голову.

— Это еще что такое? — сказал майор. — Слезы льешь? Как же тебя пустить к земляку? Утри слезы, пойдем со мной.

На втором этаже был точно такой же зал, как и на первом. Открыв дверь справа, мы очутились на большом балконе, полном каких-то неизвестных мне нежных желто-розовых цветов. Потом майор открыл еще одну стеклянную дверь. С похолодевшим сердцем я двинулся вслед за ним.

В глубине громадной темноватой комнаты, в окна которой заглядывали ветви ели, на просторном кожаном диване лежал, вверж лицом, комбат Газиев. Голова, огромная, словно подушка, сплошь забинтована: не видно ни лица, ни глаз, ни даже носа. Только запеченные губы. И руки, бессильно вытянутые поверх одеяла, тоже забинтованные до локтей...

У изголовья дивана, за столиком, уставленным какими-то пузырьками, пинцетами и шприцами, сидела немолодая медсестра. Как только мы вошли, она неслышно поднялась.

Майор на цыпочках приблизился к дивану.

— Капитан Газиев!

— А?.. Дда, дда... сслушаю...— Голос комбата звучал знакомо и в то же время с какими-то новыми непривычными придыханиями.

— Пришел вызванный тобою солдат.

— Мансурбек? — спросил комбат, заикаясь.— Где ты, ббрат?

Когда я услышал это «брат», спазма снова сжала мне горло, слезы выступили на глазах, но, встретив насупившийся взгляд майора, я подтянулся.

— Товарищ гвардии капитан, по вашему приказанию явился.

— П-по вашему... приказанию? — выдохнул комбат.— Что это ты т-так официально, ббрат?.. А ну, поближе... Анюта, сстул ему...

Анюта подвинула обитое кожей кресло к дивану.

Комбат молчал. Он то дышал тяжело с присвистом, то погружался в тихое, словно полубморочное состояние.

— Капитан Газиев! — позвал майор.

— А?.. Дда...— Капитан будто проснулся и опять, задыхаясь, заикаясь и свистя, заговорил:

— Сслушай меня, брат... С-сам видишь, пположение мое нне-важное. Я ххотел сказать тебе... Нно нне рразрешают. Нночью рразрезали всего, ххотят еще что-то... дделать... А?.. Ч-что я гговорил? Ах дда... Анюта, ддай ппланшет!..

Анюта достала из тумбочки знакомый планшет комбата.

— Ддостала? Отдай солдату... В ппланшете ттетрадка, Мансурбек. Возьми ее... Ппусть на всякий случай она будет у тебя... А тто может ппотеряться... Ппонял?

Это была тетрадь в черном коленкором переплете.

— Понял, товарищ комбат! — Увидев, как майор кивнул на дверь, я встал.

— Ххорошо... Не сердись, Кк-котельников. Видишь, р-разговаривал не больше трех минут...

Вслед за майором на цыпочках я вышел из комнаты.

— Что? Снова в слезы? — сказал мне майор на балконе.
— Товарищ майор. Неужели он... Он ведь... земляк мой!
— Вот и учишься у своего земляка, каким должен быть человек!

23

В садовой беседке я раскрыл тетрадь капитана — сразу на самом страшном месте.

«21 августа 45 года.

Два дня не брал в руки перо. Самое страшное, что только могло произойти для меня сейчас на этой войне, произошло: спасая раненых от неожиданно напавших на нас самураев-смертников, погибла Оля...

Мы похоронили ее на склоне холма, засеянном гаолянном.

Я долго сидел, не в силах покинуть ее могилу...

Мы уйдем, а Оля останется на чужбине, под этим чистым, безоблачным, но все равно неродным небом! Жестока жизнь, свершившая то, чего больше всего боялась она, человек необыкновенной чистоты и честности, — погибнуть вдали от родины...»

Я не мог читать это и перевернул несколько страниц, слева направо.

«6 августа 45 года.

Наконец от Саломатхон пришло письмо, которого я ждал почти три месяца!

Я уже давно забыл, что такое слезы. Но в горле застрял комок, когда читал ее письмо: столько боли, радости и тоски было в этих двух страничках!.. Милая! Не бойся, война эта не затянется надолго. Близок день, когда мы свидимся. Будет праздник и на нашей улице»...

Стиснув зубы, я хотел закрыть тетрадь, но взгляд упал на мое имя.

«7 августа 45 года.

Вчера строго наказал солдата Мансурбека, земляка Саломатхон. Ночью, когда мы шли по степи, он передал, оказывается, свой ручной пулемет Арслану, а сам укатил на машине артиллеристов! Что для необстрелянных, непривычных к трудностям войны отдать боевое оружие!

Я видел, что Мансурбек — парень, как видно, честный и добрый, тяжело переживает свой проступок. Но я не мог со своей стороны поступить иначе.

Бывали уже у меня случаи, когда, желая сделать «добро» землякам, я приносил им вред. До сих пор не забуду... Декабрь сорок второго года. Я — командир роты сто четырнадцатой стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Однажды к нам в полк (и в мою роту) прибыло пополнение. Среди них человек двадцать солдат из Ферганы! Я воевал тогда уже больше полутора лет, стосковался по родной стороне, по узбекскому краю,

по языку родному. И когда я увидел земляков, когда заговорил с ними по-узбекски, показалось, будто побывал в Фергане! Ну, и земляки мои тоже не нарадуются встрече со мной. Это были простые ребята, вчерашние колхозники — садоводы, хлопкоробы, чабаны. Они попросили, чтобы я их выделил в отдельный взвод, чтобы все они были вместе.

Офицеров у меня было мало, и в этот взвод я назначил командиром прибывшего вместе с ними сержанта, тоже узбека. И до первого боя в тяжелых окопных условиях я, как мог, старался облегчить им непривычную фронтовую долю.

И вот — первый бой. Было так холодно, что плевков замерзал на лету, не успев упасть на землю. После артподготовки рота пошла в наступление. Я шел сзади и вдруг вижу: упал один из земляков, а другие, все двадцать, с криками и причитаниями вдруг кидаются к нему. Окружили убитого, рыдают над ним. Ну, и накрыло минами всех, хотя я кинулся к ним и, угрожая пистолетом, разогнал в разные стороны!

С тех пор я дал себе зарок: к землякам больше всего строгости!

Солдаты, прибывшие в Монголию, хоть и не из моей Ферганы, но... — бывают же такие совпадения! — оказались земляками Саломатхон! И я обрадовался, очень обрадовался им. Но не показал, не стал подпускать их к себе, хоть и чувствовал, что они так и тянутся к офицеру-земляку.

Ничего, пусть только война кончится, и я как-нибудь соберу их вместе, объяснюсь, и, надеюсь, они простят мне эту холодность...»

Я закрыл тетрадь и сжал руками голову.

Неужели Даврон-ака и сейчас думает, что мы в обиде на него? Даврон-ака, дорогой мой, брат мой, поправляйтесь только, поправляйтесь. У нас в душе нет никакой на вас обиды! Мы любим вас! Мы гордимся вами, Даврон-ака! Слышите, гордимся...

Услышав тихие легкие шаги, я поднял голову. По аллее шла медсестра Аня.

— Пойдем-ка, солдат, — сказала она. — Тебя опять капитан просит...

24

В саду уже стемнело. В окна комнаты, где лежал комбат, пылыло какое-то зеленоватое сияние.

Комбат по-прежнему лежал вверх лицом, его забинтованная голова и руки тоже будто окрасились в зеленовато-голубой свет.

— П-пришел, Мансурбек? — сказал комбат, учащенно дыша. — Садись! Я т-тебя ззамучил? И вообще — много обижал...

— Товарищ капитан! Неужели вы думаете...

— По-с-стой! Я говорю нне для ттого, чтобы ппросить прощения. И нне п-перебивай меня, лладно? А то и так мысли ппутаются... Что я ххотел сказать? Да!.. Ппомни, каждый солдат в армии — это представитель своего ннарода! Какие бы ттяготы ни выпали нна вашу ддолю, не ххнычьте! Ввот мое ззавещание всем ммоим землякам в ббатальоне!

— Товарищ капитан! Да почему завещание, зачем вы...

— Пперестань,— перебил Даврон-ака, тяжело дыша.— Я тебя зз-звал сюда не для того, чтобы ты мменя утешал!.. Анята! Ввода у тебя есть?

— Есть, есть...— Анята, поправив бинты вокруг губ капитана, поднесла ему чайник ко рту.

Комбат, стуча зубами о чайник, сделал глоток и тихо, видно, от нестерпимой боли, простонал.

— Анята, пподай мой планшет солдату. Пподала?.. Там письмо... Письмо Саломатхон... Ппомнишь, Мансурбек, я получил его в те дни, когда ты ппулемет потерял? Оля ппринесла... Ннашел?

— Нашел, товарищ капитан! — сказал я, нащупав в планшете толстое треугольное письмо.

— Ммолодец! Ппрошу тебя, брат, ппрочитай...— Комбат не закончил. Открылась дверь, и в комнату вошли майор Котельников и полковник Белобородов, с халатом на плечах. Я вскочил с места.

— Это к-кто ттам? — недовольно пробурчал комбат.

— Я, Даврон, я...— Полковник на цыпочках подошел к дивану и сел на мое место. Комбат заволновался.

— Мстислав Владимирович! В-вы?

— Я третий раз прихожу, Даврон,— сказал Белобородов.— Вот Котельников не пускал.

— К-котельников... ббеспощадный ччеловек.— Комбат попытался пошутить.

— Ну, как ты чувствуешь себя? Лучше?

— Александр ФФедорович, ннаверное, ссказал, ккак я чувствую ссебя?

— Да, сказал. Он говорит, что ты поправишься.

— Праз Александр ФФедорович сказал, ззначит, ппоправлюсь. Но... Х-хорошо, что вы пришли, Мстислав Ввладимирович. Очень ххорошо. Я ххотел ккое-что ссказать вам. Боялся, что нне успею, ттак и унесу с собой.

— Даврон! — Белобородов невольно наклонился к комбату, который не увидел его движения.— Да о чем ты думаешь? Не узнаю тебя...

— Пподождите, товарищ пполковник... Сперва сскажите: недовольны этим ббоем, а? Нно... пповерьте: нне было другого выхода. Крестьяне п-пришли с ппросьбой, тттоварищ полковник, к-крестьяне. Их эти ссмертники разоряли, убивали...

— Кто сказал, что я недоволен? Будь я на твоём месте, я бы тоже так поступил! Только... не сберег ты себя, Даврон.

— Не сберег,— согласился комбат и нетерпеливо пошевелил рукой.— Ну что ж, война... Лучше с-скажите, товарищ полковник, вы получили мой ррапорт?

Белобородов погладил пальцем свои седые брови.

— Получил, Даврон, получил. Ты прав: все клевета, гнусный вымысел.

— Товарищ пполковник!

— Даврон! Успокойся, дорогой... Не стоит...

— Нет, ттоварищ пполковник, стоит! Эта ссамая кклевета отравила мне жжизнь! — Комбат глухо простонал, шевельнулся всем телом и, вдруг перестав заикаться, заговорил быстро и страстно: — Вы сказали, не стоит, клевета, мол! Но если клевета, то почему возбуждают дело против меня? Почему допрашивают меня?

— Даврон, дорогой! — сказал полковник.— Ты не тревожься. Все будет в порядке.

— Мне больно не потому, что боюсь! — воскликнул комбат.— А потому... что меня взяли под подозрение. Поверили не мне, а этой гнусной лжи...

— Дело не в недоверии. Раз кто-то написал, надо, значит, проверить, правду выяснить надо, Даврон!.. Чтоб потом защищать ее...

— Правда! Почему для выяснения правды проверять надо меня? Почему не начать с того, кто не гнушается низкой ложью? Или то, что я четыре года воевал, не считается достойным внимания? Получил три ранения, не остался в тылу. И после всего этого, оказывается, еще надо проверить меня... Меня, а не Ногаева... Где доверие к солдату, к боевому советскому офицеру, товарищ полковник?

Белобородов молчал. Он нагнул свою большую седую голову, освещенную голубовато-зеленым светом, и ничего не говорил. А комбат, выложив все, тоже замолчал и опять задышал тяжело, с присвистом. Майор, замерший у двери, на цыпочках подошел к полковнику и положил руку на его плечо.

Белобородов вздрогнул.

— Товарищ пполковник! — снова заикаясь, прервал тишину комбат.— Ппочему ммолчите?

— Даврон, дорогой! — Полковник коснулся руки Газиева.— Ну, что я могу тебе сейчас сказать?.. Потерпи... Знай только твердо: все, что ты сказал, я доведу до сведения командования. Можешь не сомневаться в этом.

— Спасибо, Мстислав Владимирович!

— Капитан Газиев! — строго-официально обратился к комбату майор.

— Ппо-с-стой, Александр ФФедорович! Еще одно слово. Товарищ п-полковник...

— Слушаю, дорогой...

— Ппомните, как в этом году в-весной, ппосле десанта, ккогда мы ссоединились с полком, я хходатайствовал о при-

своении Оле... м-младшему лейтенанту... и старшине Сало звания «лейтенант»...

— Помню.

— Младший лейтенант погибла, но сстаршина Сало... его заслуги вам известны, товарищ полковник.

— Хорошо, напишем, напомним...

— И последнее, товарищ полковник...

— Слушаю тебя, Даврон.

— Ха-Харитонов...— сказал комбат.— Это один из ссамых лучших офицеров в полку. Он должен расти, Мстислав Ввладимирович.

— Хорошо. Еще какая у тебя есть просьба?

— Нникакой. Ттолько, чтобы ппосле м-меня... ттакие, ккак Ногаев, не грязнили мое имя. Это единственная моя ппросьба о себе, Мстислав Владимирович...

— Газиев! Хватит разговаривать, пора гостям уходить,— сказал Котельников.

Белобородов неожиданно опустился на колени и приложился губами к забинтованной голове комбата.

— До свиданья, Даврон. Сейчас приедет знаменитый нейрохирург. Ты выздоровеешь, дорогой...

— Прощай, Мстислав Владимирович,— едва слышно проговорил комбат.

Белобородов, ни на кого не глядя, вышел. За ним — и майор, строго посмотрев на меня, «не разговаривать, мол».

В комнате воцарилась тишина. Не лишился ли сознания комбат? Я нагнулся было к нему, но в это время Даврон-ака тихо позвал меня:

— М-мансурбек!

— Слушаю, товарищ капитан.

— Я не к-кажусь тебе странным, ккак рребенок?

— Нет, нет, что вы...

— Котельников пправ! Я веду ссебя, ккак ребенок. Нно... Я ххотел, чтобы тты прочитал пписьмо Саломатхон... Ззачем?... Оно у тебя?

— Да.

— Не ннадо читать. Я ззнаю его наизусть. Ллучше... если ччто случится, ты ррасскажешь ей, что я...— Он не договорил; дверь широко, бесцеремонно распахнулась, и в комнату вместе с Котельниковым влетел быстрый старичок с бородкой клинышком. Старик сверкнул на меня золотыми очками и строго сказал:

— Что за солдат тут? Освободить помещение!

Я с отчаянием посмотрел на Котельникова, потом на комбата.

— Товарищ комбат... Даврон-ака!..

— А-ладно! — устало и безнадежно проговорил комбат.— Иди... Если что... передашь ей... Словом... Прощай, брат.

— До свиданья, товарищ капитан. Да будет операция успешной...

— Рахмат... рахмат, ука.

Боясь зареветь, я кинулся вон...

В полумраке коридора, освещенного зелеными лампочками, стояли Харитонов и перед ним весь съезжившийся Ногаев. Сбегая по ступенькам, я услышал надрывный голос Ногаева и невольно замедлил шаг.

— Почему ты не сказал, что Газиев ранен?

— А ты что, попросил бы у него извинения? Признался бы, что клеветал?

Ногаев шумно вздохнул.

— Да, извинился бы, если бы знал...

Я не стал слушать дальше.

Сад утонул во мраке. С гор дул прохладный ветер, и в неярком свете разбросанных лампочек раскачивались и тихо гудели, будто жалуясь на что-то, стройные ели. Я бежал по безлюдной аллее. Куда, зачем — не знаю. Потом гляжу — очутился в той же самой беседке, в которой я листал недавно дневник комбата.

25

«Даврон-ака! Милый мой!

Почти год ты молчал, и каждый день этого года казался мне тысячью дней. Наконец сегодня вечером я получила твое письмо.

Ты жив! Жив! Любимый мой, единственный мой, дорогой мой, ты жив! Жив!..

Письмо твое пришло ночью. Его принес, несмотря на позднее время, почтальон, инвалид войны, который знал, что мы все ждем вестей от тебя! Я прочитала письмо и, сама не знаю, почему так сделала, пошла на кладбище.

Когда приедешь, увидишь, за нашим садом, над старой мельницей, есть кладбище. А посреди кладбища стоит могила святого Гайиб-бобо. Когда нашу семью постигало какое-нибудь несчастье или случалась большая радость, покойная бабушка, (она, бедная, одинаково боялась и счастья и несчастья!), приходила сюда, читала молитву, зажигала свечку и к рогам архара над могилой привязывала белую тряпку.

Я — такая пугливая и суеверная, пошла по мрачному кладбищу и опустилась на колени перед могилой святого бобо. Что я там говорила, не помню. Да и что я могла говорить? Кажется, плакала, молила, не знаю уж кого, о том, чтобы ты уцелел на войне. Затем, привязав к рогам архара подаренный тобой в день нашей свадьбы шелковый платок (после твоего отъезда я хранила его в сундуке), вернулась домой.

Ты жив. Жив, милый мой, дорогой. И это одно слово развеяло все мои страдания за долгие годы войны, бессонные ночи, которые я пережила, думая о тебе! И не хочется в этот радостный день говорить о страданиях. Ведь ты жив! Жив!..»

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Через неделю мы собрались в путь на родину. Накануне отъезда вечером мы со старшиной Сало и с Арсланом пришли на площадь, чтобы последний раз почтить память комбата и Васи. В большом цветнике, посреди которого выросли две могилы, возился с мотыгой в руках пожилой китаец в дырявой соломенной шляпе.

Мы положили букеты цветов на могилы, постояли под елью в молчании. Китаец подошел к нам, сняв шляпу, опустился на корточки. Я заметил широкий шрам во всю щеку на его лице и узнал пожилого китайца. Он, видно, тоже узнал старшину и горестно закивал головой. А потом, показывая то на мои волосы, то на могилу, он что-то спросил. Я понял его вопрос — земляк ли «руси капитан» мне? Я знаками объяснил, что да, земляк, что все мы, советские, земляки.

Китаец опять закивал головой и несколько раз повторил: «Руси солдат, шанго!» А когда мы пошли с площади, китаец о чем-то горячо заговорил, показывая на свежие цветы, которые мы принесли, и на себя, и я снова легко понял его. Он говорил, что никогда не увянут цветы на могилах «руси капитана», что он будет присматривать за ними.

На следующее утро наш эшелон двинулся к Порт-Артуру.

* * *

...Прошло двадцать пять лет с тех пор. Я много раз брался за перо, чтобы рассказать об этой истории, но каждый раз откладывал, боясь, что рассказ мой не будет достойным памяти комбата, Оли, всех тех, кто погиб в войне с самураями. А в последние годы не раз острая боль подкатывала к сердцу: сохранились ли их могилы в том далеком китайском городе в Маньчжурии? Но вспомнив старого крестьянина в дырявой соломенной шляпе, печально склонившего голову у могилы комбата, я обнадеживаю себя: сохранились!

Ташкент, 1971

